

Б И Б Л И О Т Е К А

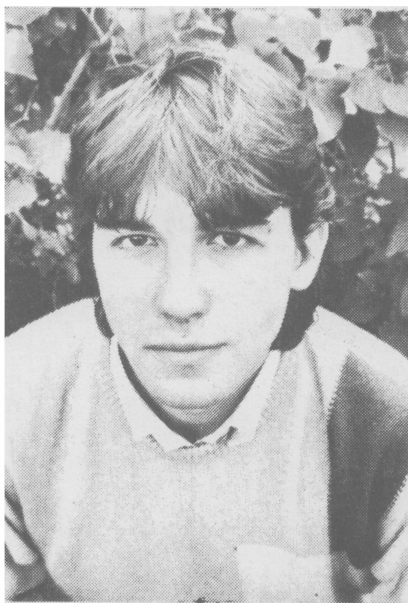
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 47

1989



Александр ТЕРЕХОВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

С Е К Р Е Т

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 47

Издается с января 1925 года

Александр ТЕРЕХОВ

СЕКРЕТ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Александр ТЕРЕХОВ

Александр Михайлович Терехов родился в 1966 году в городе Новомосковске Тульской области в семье служащих.

После школы работал корреспондентом районной газеты в Белгородской области. Служил в армии. Сейчас — студент факультета журналистики МГУ.

Литературным дебютом А. Терехова стал рассказ «Дурачок», напечатанный в еженедельнике «Неделя» в январе 1988 года. Первой журналистской работой в центральной прессе — очерк «Страх перед морозом» (журнал «Огонек», № 19, 1988 год). Участник Всесоюзного совещания молодых писателей 1989 года.

ДУРАЧОК

В лазарет я попал в первый раз, поэтому никак не мог избавиться от настороженного оцепенения, вызванного желанием сразу, с первого раза, не допускать промахов и ошибок, которые поставили бы меня в зависимое положение.

Сосед по койке мне сразу не понравился. Он как-то очень живо воспринял факт моего появления.

— Ты ложись здесь, здесь ложись, слышишь? Тумбочка твоя — эта, верхнее отделение. Сколько служишь?.. Салага, значит... Иди пока белье получи, понял?! Да брось свой мешок... Что встал-то, как столб?

Я сначала следовал его суматошным советам, но потом, решив, что дальше — больше, и лучше раньше, чем позже, резко выпрыгнул из предложенного ритма: мешок с туалетными принадлежностями и затрепанной «Роман-газетой» подчеркнуто небрежно швырнул на койку и лениво пошел к окну. Опершись на подоконник, стал смотреть вниз на черный от пыли снег, косящую ворону и малыша с лопаткой, ее неуклонно преследующего.

Моя равнодушная спина привела соседа в раздражение.

— Иди, иди, встал чего? Уйдет сестра-хозяйка, что делать будешь? А тут и пайка скоро. Главврач заметит на обходе, что ты без пижамы, — мигом в роту отправит. Ты слышишь, нет?

«Сейчас он доведет мысль до того, что я своим стоянием подрываю обороноспособность», — забко подумал я.

— Да ты чо? Оглох? а?

Он дернулся в кровати, чертыхнувшись, достал запропастившийся тапок и зашлепал ко мне.

— Да что увидел-то там?

Он посмотрел вниз, засуетившись, попытался глянуть с моего места, а потом запричитал в ухо:

— Да ты чо? Слышишь, что говорю? Встал чего? Иди, куда говорят. Слышишь? — Последнее слово он прокричал.

Я обернулся и сурово посмотрел на него в упор. Способ испытанный: дураков, а мой сосед был, несомненно, из вышеозначенной породы, он приводит в полное недоумение.

Он был мал и худ, со впалыми прыщеватыми щеками и изогнутым трамплином носом. Голубые светлые глаза под сдвинутыми к переносице бровями смотрели с изумлением. Волосы цвета сухого камыша он аккуратно зачесывал набок, организуя справа беленькую канавку приборчика.

— Ты чо? — Он выругался, определяя мое состояние. — Припух, что ли? Может, тебе подъем устроить в полвторого ночи?

«Ага, устроишь», — пообещал я про себя, не отрывая от него упорного, пристального взгляда, ожидая, когда же до него дойдет, что этим я выражаю только недоумение. Презрительное недоумение.

— Ты что молчишь-то? Идиот. Стоит и молчит, — выдавил он смехок. — Стой, стой... — Он еще раз деланно засмеялся и зашипел, уже отходя: — Душшш-шара!

«Все. Увял», — понял я и пожалел: «Жалко, что не ударил. Я бы врезал...»

Сосед ушел, хлопнув дверью.

Я сел на кровати, уткнул голову в кулаки, стал слушать, как бьется мое сердце, как стрекочет железный кузнечик часов. Я сопел и думал: «Я правда, наверное, псих... Псих... Это правда, наверное... Больное, издерганное чувство суверенитета... Чушь несу, ведь чушь... Псих просто». — И слушал, как сердце бьется глухо и далеко в теле.

Весь день я ходил оглушенный абсолютным бездельем, тишиной и покоем. Так скорый поезд вдруг резко тормозит на перегоне — и птичий разнотрав прорастает сквозь изумленный скрип сжатых тормозом колес, напоминающий о скорости, опалевшей душу. Этим скрипом, несостоятельным и пустячным напоминанием, был мой сосед по койке Шурик Шаповалов, рядовой комендантского взвода, который в гарнизоне обеспечивал охрану проходных.

Шаповалов мрачным взглядом встречал каждое мое появление в палате, сразу замолкал, а когда говорил я, напрягался, пофыркивал и качал головой, выражая бездну презрения к моим донельзя глупым и пустячным словам. Я спокойно смотрел на Шурика — не разозлился даже, застав его читающим мой военный билет, разысканный в тумбочке. «Жур-на-лист», — прочитал он мою профессию и с гадливой насмешкой бросил билет на кровать.

Я не разозлился. Напряжение, заполняющее душу человека в армии в жестком коллективе мужчин, непримиримых к слабостям и скупых на внимание и доброту, — это напряжение разжималось с каждым блаженным, пьянящим часом безделья. А Шаповалов... Это была чепуха, мелочи, пустяки по сравнению с морем свободы и отдыха, которое я пил, задыхаясь. Мой поезд тормозил.

Спать я пошел в полдесятого, оставив без внимания предстоящий фильм.

— Эй, журналист, подъем! — несмело затряс меня за плечо Шаповалов.

Было понятно, что собирается удержаться на грани шутки: то ли опыта для таких дел маловато, то ли увиденный фильм развеселил. Я был не склонен шутить. Сел в кровати, внимательно посмотрел в темноте на часы: убедившись, что до утра далеко, лег лицом к стене, так и не удостоив взглядом будильника.

— Подъем! Эй, журналист, подъем, — заныл он, пытаюсь раскатать меня, как застрявшее бревно. Я был безмолвен и равнодушен к его потугам. Тогда он уцепился за мое плечо и принялся тянуть, все больше раздражаясь отсутствием реакции. Потом наклонился и крикнул в ухо:

— Подъе-ом! Журналист, подъем! Давай поднимайся!

Я глаз не открывал. Он сел на меня и стал подпрыгивать. «Сколько угодно», — подумал я.

Служил он на полгода больше меня, и ему полагалось так поступать, а мне полагалось подчиниться. Но мой поезд сильно затормозил — я демонстрировал полное презрение к «шнурку».

— А может, ты умер? — хихикнул он и просунул свою ладонь к моему лицу. Шлепнул по щеке.

Легко так шлепнул. Обычно. Обычно так и бьют. В грудь или ладонью по щеке. Чтоб не оставалось синяков. Это точно — не остается.

Но он шлепнул меня слегка, играясь, что ли.

Мне надоел скрип поезда. Я хотел послушать лес и птиц, хоть ненадолго.

Сел в кровати. Шурик, улыбаясь в темноте, стоял рядом.

Я аккуратно протер глаза, отвернул одеяло, выпростал ноги, нащупал ими тапки, заправил рубашку в кальсоны, встал, схватил Шаповалова за ворот и рывком притянул к себе. Я сжимал его горло, встряхивал худое тщедушное тело, видел сразу затрясшиеся щеки и повлажневшие, вытаращенные глаза, спокойно сознавая, что, пожалуй, не понимаю, что делаю и зачем.

Он изумленно и зло вскрикнул: «Ты что, журналист?» — и уцепился своими клешнями за мои руки, слабо пытаюсь их разжать. «Ты что-о?» — хрипел он и дергал головой, не догадываясь ударить меня.

Я выпустил его, стряхнул с ног тапочки и сел, выдохнув тяжелый бешеный воздух из легких.

— Псих... А все-таки поднялся... Все-таки я тебе подъем сделал... — нервно гнусавил он.

«Значит, не ударит. Все, значит...» — скучно понял я и лег, накрывшись с головой.

Шаповалов тоже стал укладываться, нервно смеясь и гнусая. Когда лег, помолчал и сказал, заложив руки за голову:

— Журналист, напиши книгу обо мне. А?

— А? — еще раз квакнул он. — Я понимаю, я тебя мучаю...

Я криво усмехнулся: видимо, Шаповалов не знал, как могут мучить люди друг друга, а его потуги были смешны и мелки. И сам он уже вызывал брезгливую жалость.

— Книжки пишут о людях, которые представляют интерес для всех, — выговорил я правильную фразу.

— А моя жизнь тоже всем интересна. Жизнь обыкновенного, простого человека.

— Твоя жизнь не интересна никому. — Я подсластил пилюлю. — Как и большинства других. О тебе в лучшем случае будут помнить твои внуки, а правнуки уже забудут. Через сто лет уже никто не вспомнит. И никогда не вспомнит. Планета через миллиарды лет погибнет... И ни о ком никто не вспомнит — пыль будет от всего... И кому какое дело до тебя — соринки. — Мне хотелось, чтобы его мелкая душонка замерла перед холодом вечности.

Как замерла моя.

— Соринка... Моя жизнь... Что ты знаешь, журналист, о моей жизни? — сказал он книжно и надуту, подумал, что еще добавить, дернул кадыком и повернулся спиной.

Я засыпал, испытывая чувство, уже знакомое мне: это бывает, когда услышишь чужую исповедь, не захочешь, а заглянешь в чужую душу. И ничего вроде не произошло, а будто ржавчина невесомо-неподъемная легла на душу, и уж не знаешь, как прогнать это чувство.

Его выписали утром. А я даже не знал об этом, просто издали в коридоре увидел его сутулую фигуру с опущенной головой. Он долго опраивал шинель перед зеркалом и зашагал к выходу. Там Шурик опять притормозил, открыв дверь, обернулся востроносым бледным лицом, и дверь хлопнула. Все.

Ушел человек, и постель его заправлена, словно никто там не спал. Время равнодушным ветерком выдует его из памяти. Уже выдуло.

* * *

После обеда лазаретовский фельдшер — ефрейтор Клыгин украсил мою спину грибницей банок, и я пластом лежал в кровати, борясь со сном, и слушал треп сержанта Ланга — «замка» комендантов (зам. командира комендантского взвода). Ланг обживал новую кровать и трепался про всякую чепуху.

— Кто до меня тут лежал? Шурик Шаповалов? «Шнурок» из нашего взвода. Как он тебе? Странноватый? Это еще фигня. Он дурачок. Бамбук. С него вся рота укатывается. «Ефрейтор» — кличку ему налепили. Он тогда на третьей проходной стоял, Козлов решил пошутить и говорит ему смеху ради: «Шурик, тебе ефрейтора дают, ребята с коммунатора слышали, как командир роты по телефону об этом трепался». Он, дурак, обрадовался, прибежал к Семаку в строевой отдел, лычки выпросил и за ночь на посту понаклеивал. Утром в столовую на пайку с лычками пришел. Тут его Журавчак, есть у нас такой «дедушка» авторитетный, и остановил. Ты что, говорит, «шнурок» драный, припух, что ли?.. И хрясь оба погона. С корнем. У нас Журавчак такой бич, а Шурик

что... млявота... стоит, глядит, моргает, и губы дергаются. Бамбук млявый. Рота на всю столовую ржала, завтрак на пятнадцать минут задержали.

Я заученно улыбался в смешных, по мнению рассказчика, местах, а поскольку Ланг был человеком необычайно восторженным, то делать это приходилось через каждые два предложения. «Спал бы сейчас да спал». — Эта мысль вздыхала во мне с каждой улыбкой.

Но Ланг выехал, видимо, на хорошо накатанную колею, и телега нашего разговора (вернее, его монолога) никак не могла из нее выбраться.

— А тут влюбился Я почему его все время на третью проходную ставлю — там Алка на работу ходит. Оценишь еще эту биксу в процедурной. Ну вот она ему и понравилась — не хило, да? То словечком перемолвятся, то улыбнется... А он важный и надутый становится, когда проходит, весь из себя, начальних охрененный... Дергается аж от важности. И прибарался к Семаку: дай ее фотографию. Когда пропуск в гарнизон оформляют, то сдают две фотографии: одну в пропуск, другую в строевой отдел, а Семак там заведует. Но Семак отвечает: я тебе, Шурик, фотографию дам, но ты накорми меня в буфете. Так и сделал. Чудил, может... Смотрит — после обеда Шурик приносит, — Ланг, весело задыхаясь, круглил глаза, — две бутылки «Пепси-колы», бутылку «Фанты», белящей с мясом штук пять и трубок с кремом — короче, во-от такой кулек. Потом после этого только застиранные воротнички подшивал — денег на чистую подшивку не было. Ну, он у меня за это по нарядам полетал...

Я втиснул в паузу всепонимающую солидарную улыбку. «Спал бы да спал...»

— Вся рота, конечно, знает. Только он подменится с проходной — сразу «дед» какой-нибудь его подзывает, сажает рядышком и говорит: «Ну, Шипа (так его еще в роте зовут), как Алка?» Он краснеет, молчит, пот вытирает. А «деды» укатываются: вот дурачок! А ее дом во-от здесь прямо крайний, через дорогу от гарнизона Шипа вечно на ее окно пялится, думает, раздеваться начнет, что ли, бамбук. Она, может, за вечер раз в окне и мелькнет, а Шипа на морозе всю ночь торчит, стекленеет, а подменный в тепле бичует. Как в смену с Шипой идти, от желающих отбоя нет. Вот Семак с Козловым Шипе и говорят: Алка, как шла с работы, просила зайти насчет книжек каких-то. — Глаза у Ланга блестящие, как две льдинки под солнцем.

А у меня затекла шея от непрерывных поворотов головы в сторону собеседника для показа обратной реакции. Было неудобно лежать: то ли Клыгин плохо накрыл меня одеялом, то ли просто тело затекло... что-то глухое, серое разливалось по душе

— Насчет книжки... ага. Тогда в процедурке ремонт был — Алка сидела в библиотеке, и Шипа, соответственно, там сидел. Они сказали, значит, а Шипа выдохнул так, будто ему поддых дали, и как побежал через дорогу. Прямо к дому. Семак с Козловым переглянулись — шары

вот такие — и за ним. Еле догнали у подъезда. Обратно чуть не волоком тащили, да Шипа особо и не упирался, понял, наверное, только борзнул слегка — подлецы, говорит. Ему Козлов показал подлецов. Завел в кубрик вечером, въехал раз по рогалянику — Шипа враз все тумбочки пособирал.

— Ланг! — трагическим голосом сказал Клыгин, просунув голову в палату. — Идите в регистратуру, сестра отлучилась. Оттуда ни ногой. Хватит членкору лапшу на уши вешать...

Я постанывал, когда Клыгин сдергивал банки с моей спины. Не столько от удовольствия, сколько от того, что Клыгин ждал этих стонов и, слыша их, был доволен.

«Все. Спать. Этот бамбук меня заколебал. Хватит рассказов про этого дурачка. Что я, помойная яма, что ли?»

* * *

На следующий день с утра я отправился на электрофорез.

«Иди сейчас, — таинственным шепотом убеждал меня Клыгин. — Там молодая сейчас...» И улыбался так, что сжатые губы превращались в ведерную дужку.

Ефрейтор был высокий и статный, с золотистым бобриком волос и румяным лицом. Его знал весь гарнизон, и весь гарнизон в нем души не чаял за вечные приколы и прорывающуюся порой доброту к приятелям, которая выражалась в предоставлении тихой гавани лазарета для человека, у которого в роте настали черные дни и надо отсидеться и переждать, когда все затихнет. Доброта фельдшера проявлялась только для немногих избранных приятелей. О нем всегда говорили с уважением и завистью, увидев его широкоплечую фигуру в щегольски заглаженной шинели, когда он приходил в столовую за пайкой для лазарета.

Жилось ему хорошо. В свою роту он приходил только спать, а в лазарете чудил всю: играл с больными в прятки, салочки, жмурки, ржал так громко, что часовые на проходных оглядывались. И спал после обеда, сместив кого-нибудь из обитателей лазарета с любимой койки у батареи.

Медслужба — медовая служба. Так говорили в гарнизоне. Ибо одна из любимейших тем у солдатского кружка — кому хорошо служит; когда в рассказ густо вкрапляется вымысел и возникают фантастические истории о том, как кому обалденно хорошо. Завистливые глаза слепы, не любят прозы. Может быть, не так уж хорошо жилось ефрейтору Клыгину, но мнение бытовало прочно.

А еще служил он дома. В родном городе. Как он сюда попал, одному богу известно. Но дома — уже здорово. И часто заходили к нему в санчасть с «гражданки» знакомые приятельницы, волнующие и тревожно смеялись с ним в запертой изнутри ординаторской, а затем проплывали бесплотными видениями мимо задеревеневших вдруг больных.

Считалось, что Клыгин, как всякая знаменитость мужского пола, незаурядный специалист по амурным делам, и поэтому если он говорил, что надо идти на электрофорез именно сейчас, то именно сейчас и следовало идти.

Я пару раз стукнул пальцем в дверь с нужным номером на табличке и зашел в коридор, шаркая тапочками по линолеуму. Кабинет был беспорядочно заставлен цветами в горшках и кадках, принесенными сюда из ремонтируемых кабинетов. Кабинки для процедур оказались пустыми, врача тоже не было видно. Я взял в руки песочные часы и перевернул их. Песок потек. Дверь кого-то впустила, и листок с направлением был немедленно вырван из моих рук, сложенных за спиной. Девушка в белом халате быстро прошла к столику и заглянула в направление. Я лишь мельком увидел короткие темные волосы, полные алые губы и накрашенные глаза и сразу стал глядеть вниз на ее белые сапожки и заправленные в них фирменные джинсы. Хорошие такие джинсы.

— Идите туда, — по-женски аккуратно выговорила она, дотронувшись легко до моей вздрагнувшей руки. Я ссутулился еще больше и зашагал к указанной кабинке, ощущая свою деревянность: вроде совсем недавно в армии, но как-то напрочь разучился смотреть на девушек прямо.

Я лег, стесняясь своего сероватого белья, и стал смотреть в потолок, когда девушка деловито положила мне на грудь пластину, придавила ее мешочком и чем-то щелкнула.

— Сейчас должно покалывать. Как горчичник. Хороший горчичник, не старый, — прояснила она ситуацию.

— Слишком сильно. Можно и поменьше, — шевельнул я губами.

— Ой, какой ты у нас слабак, — сказала она и, передвинув что-то на пульте, уплыла за шторку, оставив мне облако духов.

«Я не слабак. Я избалованный, — беседовал я с ней про себя. — Какая разница? Слабак принимает любое положение в жизни так, как преподносит судьба, а избалованный хочет в любом положении обеспечить себе максимум комфорта. Избалованный лучше, чем слабак. Он предприимчивей», — говорил я про себя, занимаясь тем, чем занимается в армии каждый. Когда нельзя ответить вслух, отвечаешь про себя. Это и создает идлюзию равенства. Если не можешь быть человеком вслух, пытаешься быть человеком про себя.

— Подъем! Ты что, псих?

Черт. Угораздило задремать. Ну, и, конечно, я дернулся «по подъему», как следует. Все-таки рефлекс отработан. Все с груди полетело на пол, а я, как дурак, ищуща табурет с «жбэ».

Она стояла и, сдерживая смех, глядела, как я зло натягиваю нижнюю рубашку, пижаму, быстро оправляю простыню на лежаке и, выпалив «спасибо!», выхожу, оценив попутно в зеркале два помидора, имевших когда-то честь именоваться моими ушами.

— Ну как Аллочка, членкор? — заулыбался Клыгин.

Он любил поговорить, а я умел слушать и поддакивать понимающе и союзно, поэтому болтать со мной ему нравилось.

— Да-а,— смущенно выдавил я, всю разыгрывая свой обычный для Клыгина образ, самый выигрышный для себя,— образ провинциального тюфяка, чья простота у всякого вызывает желание взять его под великодушную опеку.

— А ты думал! — радостно продолжил Клыгин. — Только после училища — «цветной телевизор» по моей классификации, взгляда не оторвешь. А в медучилище с этим делом просто... Она, правда, с таким видом ходит, дескать, хрен допросишься. Но я бы давно... Но папа у ней... Начмед гарнизона!

Я глупо-изумленно округлил глаза, испуганно выдавил:

— Да-аа?

— Ага,— залился Клыгин. — Ты, членкор, наверное уже глаз положил... А здесь — пас. Гы-ы. — Он плюхнулся на кровать Ланга и, закатив глаза, пропел:

— Дайте мне поспать хоть один час в сутки.

И скосил глаза на меня, ожидая поддержки.

Я вяло улыбнулся.

— Что тут тебе Ланг вчера рассказывал? — осведомился Клыгин.

— Да про этого... Шаповалова, кажется, здесь рядом спал.

— Про Шипу? Оборжесся, да?

Да, оборжесся, кивнул я. Очень смешно. Смех! Как не посмеяться над «салабоном». Иди сюда! Дембель, давай! Не понял? Дембель, давай! Больше повторять не буду. Как что делать? Иди и спрашивай у «салабонов». Все спят? Буди. Не знают? Ладно, мужик, «дедушка» тебе объяснит, не дай бог, ты после этого не сделаешь. Когда услышишь эти слова, надо побежать и через минуту принести дембель — быстро и без суеты. Понял? Дембель, давай! Ну? Припух? Служба медом показалась? «Дедушек» не уважаешь? А потом... Кулаком в грудь или ладошкой по лицу — и шагом марш в туалет, чтобы я утром зашел и удивился — все сияет.

Аттракцион. Комната смеха.

Первый год службы — без вины виноватые. Второй — веселые ребята.

Это справедливей, чем многое в жизни, где все вперемешку: и радость, и боль. Одному сплошная радость, так много, что уж и не в радость она. Другой — как мишень перед удачным стрелком: что ни удар, то по нему. Слепо. Несправедливо.

Здесь куда лучше. Год боли. Год счастья. Гарантируется. Только та ли радость, что чужой болью рождается? Только тот ли человек, которого выпускают на волю после года жизни «про себя»? Говорит ли он после этого вслух? Не входит ли в кровь эта рабская униженность, когда спокоен, видя, как кого-то бьют, — слава богу, не меня, тем и счастливым, тем и жив?

Бред.

Неужто это не антракт, а первое действие? Неужто в прологе детства нам показывали лишь костюмы, гримерные добра и света, не допуская в зрительный зал, где идут другие пьесы? Неужто нет награды доброте и нет суда жестокости и злу? Неужели «там», на далекой «гражданке», то же в основе — только более скрыто? Господи, голова пухнет.

Неужто это не антракт, не чулан, а дорога, дорога, и мы едем, едем, едем?..

Проклятая санчасть.

* * *

На обед нам дают кашу, а утром масло. И что бы ни случилось, утром будет масло, вкусное и белое. А вечером я вспомню толстую Ирку, однокурсницу, как я ее мял в подъезде, с силой шаря руками по юбке, и влажными от пота пальцами лез под толстую кофту-олимпийку, а она противно и притворно визжала, совершенно не сопротивляясь, а еще сильнее вдавливая в меня своим тугим, тревожным телом. Вернусь — родители купят куртку «аляска» и джинсы. Буду много зарабатывать и построю дом в лесу, большой и красивый. И буду в нем один. Один. И никакой поезд не добросит до моего дома гудок через лес. Никакой. И буду читать детективы и стихи. И выброшу телевизор, и забуду, все забуду.

А в тумбочке у меня еще осталась одна карамелька. Было две — одной угостил Ланга. Дурак. Но эту можно съесть, хоть она, должно быть, немножко подтаяла и придется слизывать сладкое с фантика. Карамель «Сливовая». Лишь бы Клыгин не заглянул в тумбочку, иначе он сделает сладкие глаза и веселую рожу, я отдам ему карамельку с улыбкой и даже с довольным видом. Когда придет папа, он мне еще больше привезет. Скорей бы он приезжал. Как цирк бродячий, добрый и старый, как посол той страны, которая называется Прологом и в которой мы все эмигранты.

Лишь бы Клыгин не заглянул в тумбочку.

Клыгин уже минут десять что-то рассказывал, не обращая внимания на мое подчеркнуто бесчувственное лицо.

— Он, Шипа, в санчасть ходил каждый день. Уж и не знал, чем заболеть, чтобы лечь. И ко мне приставал: положи да положи... Ну и допросился: сыпь у него объявилась на обеих ногах и зад, болячки, знаешь, такие — хлопьями. Его определили к нам на десять дней. Зеленкой мазали. Ну болячки и заживали чуть-чуть. Он, знаешь, как процедур нет, все по первому этажу курсировал: вдруг Алка из кабинета выйдет. Как щенок у двери зимой: и боится, и хочется. Скулит. Я его как подкалывал: по утрам надо одному человеку за пайкой идти. Все, конечно, фиг вам, хрен добудиться, а я Шипе говорю, — Клыгин сделал серьезное, вкрадчивое лицо: — Шурик, тебе Алла привет передавала. Он как вски-

нется: «Правда?». Глаза, как кокарды. Я говорю: «Правда». Так он мне и за пайкой ходил, и тарелочки мыл, как миленький. А потом забарал меня своей тупостью, и мы его с Лангом стали мочить.

Шипа книгу очередную грызет, чтобы скорей можно было в библиотеку ее таранить, к Аллочке поближе. Я к нему подсел и говорю: «Да шлюха она». Он молчит, но вижу, краснеет. Повторяю: «Шлюха!». Он голову поднял и шипит: «Не смей». Мне шипит! И дальше: «Она выше этого. А вы дрянь». Буранул, да?

Я абсолютно понимающе кивнул.

— И подушечкой себе грызло закрыл, чтобы меня больше не слышать. Мы с Лангом его быстренько заломали: руки за спину — и давай ему в каждое ухо орать: «Шлюха! Шлюха! Она мне давала, ему давала, вот тому давала и этому! Всем давала! Дырка она!». Шипа дергается, хрипит. Дня два он со мной не разговаривал, а потом надоело парашу мыть, стал подлизываться. А тут главврач на обходе говорит: болячки поджили, надо Шаповалову прогревания. Шипе враз курс на пять дней прописали. Он сразу к главному бросился: может, без этого как-нибудь? А главному по-фигу: «Клыгин, — говорит, — проследи!» Шипа сник. Все говорил: мне мать должна три рубля прислать, я тебе пайку хорошую куплю. Все в роту звонил: пришло письмо или нет? А потом вообще мне свою «парадку» предложил: возьми, говорит, из дружбы. Я, говорит, скажу старшине, что потерял. Я смеюсь: вычитать же будут! Он подумал: маме напишу, она поймет, насобирает. Как демобилизуюсь, отработаю, отдам. Нужна мне его «парадка»! Он вон какой хилый, разве мне налезет! Короче, встряхнул его за шиворот и толкую: чмо на лыжах, если не полетишь на процедуры, я Алке скажу, что ты в нее... По уши. Вопросы? Утих он сразу. Утром из роты прихожу в шесть часов, он уже в кровати сидит, не спит. Все утро молчал. После пайки я его и повел. Смотрю, он идет, как будто шило в зад, аж скулы выперли. Я, значит, его завел, Аллочке бумаги, его — в кабинку. Лег он на живот. Спускай, говорю, кальсоны, показывай хозяйство! Он, знаешь, так нехотя, через силу будто, спустил. Я хлопнул его по ляжке. Вот, говорю, наш пятнистый леопард! Аллочка свет поставила, носик сморщила, говорит: Сережа, не уходи, своего пациента сам обслужи, пожалуйста. Шипа все десять минут тихо, как мышка, пролежал, потом сразу к главному. Тот его выписал. Я уж думал, стуканул, но все тихо. Ну что, бум спать? Бум! Бум! Бум.

Я перед тем, как заснуть, светло подумал, что когда-нибудь стану «дедом», буду ходить расстегнутым, в кожаном ремне и сапогах гармошкой. Буду «дедом» авторитетным и научусь важно говорить «салабонам», которые станут бояться меня, называть за глаза «зверь»: «Ты что, опух? Службы не понял, «Душа» дрянная? Бегом в туалет, через пять минут прихожу, гляжу в умявальник и вижу там свое отражение!» И кулаком по груди. Чтобы синяков не оставалось.

Еще дней триста. И я стану «дедом». Хозяином жизни.

Утром шел на электрофорез. Мрачный был день. То ли спал плохо, то ли зима скупно дает свет. И медленно время идет.

— Очки! Очки, блин...— «Шнурок» из нашей роты Давыдчик аккуратно манил меня пальцем.

Я подошел, чуть не захлебнувшись омерзением и тоской, безысходностью.

— Что мы тут делаем? Забил на службу болт? Сачкуем?

Я смотрел на кончики больничных тапок, опустив руки вдоль тела.

— Что, молчим, милый?

— Не-ет,— язык еле отлип,— у меня пневмония.

— Что у тебя?— скривил морду Давыдчик.

— Воспаление легких. Пневмония.

— Что, умный, что ли, до хрена? Да?

— Нет.

— Как служба? А?

— Как у курицы.

— Почему это «как у курицы»?

— Где поймают, там и...

— Так... День прошел...

— Слава богу, не убили — завтра снова на работу.

— Громче.

— Слава богу...

— Так-то. Выздоровливай скорей. Мы тебя в роте очень ждем. Туалеты мыть некому.

Я почти радостно улыбнулся. Хлебом не корми — дай туалет помыть. Но понравиться не удалось.

— Чего оскалился, чама? Скажи, я чама.

— Я чама.

— Завтра работу тебе принесу, будешь мне альбомчик делать. Ясно?

— Да.

— Иди. Мало тебя били. Но ничего. Еще исправимся.

И все-таки ко мне приедет папа. Когда я был маленьким, он качал меня на коленях, а теперь он пожилой и иногда плачет, когда ко мне приезжает, но старается, чтобы я этого не видел. Я тоже плачу, а он это видит.

Дома он начальник. У него много подчиненных. Но теперь ему стало трудно работать. Потому что он часто ездит ко мне.

Он привезет мне варенье. Вишневое. Я люблю грызть косточки.

— Здравия желаю.

— Здравсти...

— Мне сюда?

И еще колбасы. И пирог яблочный в целлофановом кулке. И денег. Я ему говорю: не привози денег. А он привозит: может, что купишь

себе. А их все равно занимают. Но я ему не говорю. Вру, что много себе покупаю.

И котлеты привезет, и печенку. Он всегда много привозит. Я страшно объедаюсь. Он тоже иногда ест со мной. Все-таки с дороги, проголодался. Но мало ест. Будто стесняется.

Папа сказал, что я возмужал.

— Ложись, что сидишь?

Папа, я не возмужал, я постарел.

— Ваш плешивый что не приходит?

А старики — это тоже дети, только дурные, слабые, дурачки...

— Я говорю: что плешивый ваш не приходит? Выписался, что ли?

— Он не плешивый, — сказал я про себя. Потом подумал, приподнялся на локте и повторил: — Он не плешивый, — себе под нос. А пластинки даже не слетели с груди — я чуть-чуть привстал. И видел ее спину.

— Он не плешивый, — громко сказал я.

— Что? — спросила она, что-то записывая.

Я сел. Пластинки слетели на пол. Огляделся. куда бы дать выход звенящей, зудящей дрожи рук и души? Толкнул цветочный горшок. Он качнулся и устоял. Лежак был теплый, хотелось лечь снова.

— Он не плешивый! — крикнул я и толкнул горшок изо всех сил. Рука скользнула, но горшок все же упал, выплеснул язычок земли на линолеум. Белое пятно запестрело и резким бабьим голосом плюнуло: «Это что? Такое?»

Я встал и пошел, потом побежал: никак не унималась эта чертова черная дрожь. Дернул штору с двери, смёл какие-то склянки со столика и, не увидев себя в зеркале, вылетел в коридор. Изо всех сил побежал...

Потом были руки из огромной волны выросшей дрожи. И чей-то голос перед огромной волной, что вот-вот накроет:

— Какой молодой и такой нервный. Интересно: кем был до армий?

Я выдохнул последнее.

— Человеком...

ЖЕСТОКОЕ СЧАСТЬЕ.

Несколько вариаций на одну тему.

За свою жизнь я ни разу не подал милостыню нищему.

Я вырос, твердо запомнив: в нашей стране с голода никто не умирает. В нашей стране нищих нет. Как и многих других нехороших вещей, о которых пишут в газетах на третьей полосе и в исторических книжках.

И поэтому я грубо с размаха захлопываю дверь перед привычно ноющими «погорельцами» и с внутренним презрением легко прохожу рядом с уложенными на серый асфальт кепками инвалидов и протянутыми кулачками богомольных старушек — их для меня нет.

В избытке веры почти всегда недостаток милосердия.

Люди милосердные склонны сомневаться, и прежде всего — в запрете чужой веры — они строго меня не осудят. Дело не только в вере. Внутренне всегда очень труслива бездумная вера. Большие воздушные шарiki боятся крохотных иголок. Ничтожный укол — шарик сдуется весь.

Потому что пустой.

Люди всегда подспудно боятся ремонта. Как же так, жили в родной своей квартире, любимой и обожаемой до последнего пятна на обоях и памятной трещинки на потолке, наблюдаемой перед отходом ко сну. И вдруг, на тебе: мебель сдвинута что куда, увешана тряпками и газетами, ободраны обои, обнажилась паутина, плесень, дыры загадочного происхождения, и стоишь ты посреди комнаты весь в тоске и неприютности, кажется: рухнет все. А это только начало. Это только ободрали обои.

Страшно неприютно стало жить. Впереди — жуткий ремонт. То, что было шепотом для немногих, — теперь набатом для всех. И мы еще только вначале. Когда еще не думают: что делать? Когда еще пытаются все увидеть.

Посмотрим на нищих.

Если обернуться назад: нищие появились от хорошей жизни. Возрос моральный и экономический потенциал, и случайная или естественная немощ человека уже не являлась путевкой в мир иной — иждивенцы берутся обществом на поруки. Со временем нищие разделились на оседлых, перебивающихся от праздника к празднику, от крестин до похорон, от дома к дому; на «погорельцев», кочующих вдали от родных мест, чтобы смягчить удар судьбы; на церковных, в чьей среде профессионализм уже высок и среди которых обитали юродивые — баловни нашей литературы. О нищих любят рассказывать легенды и были: вот, дескать, померла старушка побирушка, похоронить было не на что, а копнулы у ей под полом — а там: многие тыщи!

Значит, мы раньше думали о себе то, чего не было на самом деле.

* * *

— Дай-те копеечку! Храни вас господь на долгие годы. Храни вас господь от скорби и болезней, и дай вам господь доброго здоровья...

У старушки трясется рука, в которую кладут монеты.

Отдав должное автору подавания, она внимательно разглядывает монету, осторожно приподняв оглобли очков, и заученным движением

опускает ее в карман. По мере накопления кулачок мелочи переправляется в сумку.

Подают бойко — человек десять за пять минут. Отстояв полтора часа у входа в магазин, старушка выпивает в кафетерии стакан горячего кофе и заступает на вторую смену.

Идут люди: студенты, старики, дети, милиционеры, рабочие, улыбаются, хмурятся, жуют мороженое, утирают пот, меняют руки от тяжелой сумки, качают коляски. Старушки нет.

Но она — есть.

С нищими общаться непросто и малопрочно. Из гуманных соображений я не прибегал к принудительным услугам милиции и принципиально говорил лишь с теми, кто не против разговора. Будем милосердны.

Елене Максимовне 85 лет. Сирота, в детстве батрачила на кулака. Всех боялась, угождала и старым и малым. Неграмотная. Муж и девять детей померли. Работала дворником. Пенсия сейчас — тридцать рублей. Это минус квартира, свет не пишите, свет она не зажигает. Одна комната в общей квартире — семь метров. В комнате — «диван-развалюха да тумбочка спод телевизера». На диване спит сама. На полу — воспитанник, пэтэушник. У парня отец с матерью лишены родительских прав, а брат ведет «рассеянную жизнь» — Елена Максимовна парня к брату не пускает. Ходит побираться, по ее словам, не часто. И не помногу — рублей четыре-пять за утро. И все. Хватает. Начинать? А чего трудного — встала и протянула руку.

Молчим. Она горько вздыхает:

— Век прожила в слезах и горе.

Ее «коллега» Екатерина Михайловна выходит «на работу» в черном пальто и мужских ботинках, крестит рот и кланяется. Кроме магазина, бывает еще и на Черемушкинском рынке. Ей — 80. Всю жизнь работала в прислуге. Стажа всего пять лет.

Нашел я их быстро. Поговорил с начальником местного отделения милиции. Он минуты две изумленно молчал после моего вопроса о нищих. И отрицательно покачал головой: никогда, нигде, никого. Из окна его кабинета виден магазин «Мясо».

В нем не первый год собираются Елена Максимовна и Екатерина Михайловна.

Они довольны жизнью. Предложения помочь встречают в штыки. Жалоба одна: подавать меньше стали. Это первая сквозная тема в сетованиях нищих. Вторая: мы-то ладно, а гляньте, как вон те гребут деньги. Лопатой!

Под «вон теми» подразумевается нищий классический — церковный. Про них уважительно говорят, что собирают они за смену до пятидесяти рублей. Место на паперти занимают пораньше. Кто не успел или не смел, отснесется на сырые кладбищенские дорожки: как каменные ангелы скорби слева и справа.

Церковные — прочный коллектив, объединенный общим местом и многолетним стажем (у некоторых свыше десяти лет). Подаяние на улице более человечно. На улице индивидуальное милосердие. В церкви конвейер — деньги суют в кулачок крайнего, как медяк при входе в метро. С соответствующим выражением лица. Иногда дарят целый рубль, шепча: «На всех». Как только щедрая рука удаляется на известное расстояние, начинается судорожный, крутой разбор: разделит обладатель рубля полученное на всех или нет. При этом лица, которые еще полчаса назад бессильно закатывали глаза и вытягивали в мычании губы, силясь что либо выразить мне в ответ, проявляют недюжинное ораторское мастерство и дикцию, сделавшую бы честь диктору ЦТ.

Идти на общение «церковные» отказываются категорически. Пришли, видит бог, в первый раз, и, как только накопят сумму, достаточную для закупки скромного количества молока и хлеба, их и след простынет. Обитают они подальше от центра. На паперти церкви Даниловского кладбища в хороший день я насчитал одиннадцать человек. Многочасовое стояние на ногах и вообще факт прихода говорит о сносном физическом состоянии.

Я искал внутренний надлом, жертв нашего равнодушия, муки стыда и поиск помощи. Ничего этого я не нашел.

«Дно» страшно не тем, что туда падают люди. Страшно, что они не хотят оттуда выбираться.

* * *

Я готов оправдывать тех, кто подает, и тех, кто нет.

Подают чаще всего пожилые, приезжающие за покупками женщины, ветераны войны, совсем редко — средний возраст. Молодежь — никогда. Дети — если только бабушка даст монетку и скажет, что делать. Хотя дети боятся. Это страшно: розовые банты и белые гольфы, сморщенное лицо и трясущиеся руки.

Но общий настрой — равнодушие. И это оправдано.

Не надо требовать зоркости и непримиримости милиционеров, кропотливости тимуровцев, щедрости работников собеса, презрения к иждивенцам граждан. Нищих не надо спасать. Это люди, которые нашли выход из положения, и этот выход для них оптимален: и нравственно, и экономически.

Но для нас он убийственный.

Нас не может умилять факт нашего милосердия — вот мы их содержим: крошки со стола — это не милосердие. Милосердие — делиться необходимым себе. Расставание с медяком — это такое же милосердие, как марка ОСВОДа — спасение утопающих. Когда человек садится на обочину с кепкой, первым мимо себя проходит он сам. Но мы содержим его. А люди, которых в тысячи раз больше и которые, обществом воспитанные, протянуть руку не могут, — они остаются вне поля зрения.

Благополучие нищих не повод для радости. Бодрый румянец не всегда говорит о здоровье. Иногда — о чахотке. Прежде чем восхититься золотой коронкой, вздохнем о больном зубе. Я хитрил, когда писал: посмотрим на нищих. Посмотрим на себя. Ремонт обнажает не только стены, но и души.

* * *

Равнодушие захлестывает общество. Наше счастье стало жестоким. Дефицит гуманизма в истории аукнулся пристальным взглядом только вперед. Мы правы, мы добились, мы разгромили, мы идем, мы не смотрим под ноги, но пройти мешает именно то, что осталось под ногами. Мы слепо уверовали в окончательную справедливость общественного устройства. Когда эта вера испарилась, остался только осадок: смирение перед предначертанностью: делай или не делай, все пойдет, как шло.

Предначертанность размыла нравственность. Выбор способа существования стал личным делом и лишился оценки. Кто-то ворует, кто-то работает, кто-то торгует досками, кто-то — телом, кто-то дает взятки, кто-то их берет, кто-то перестраивается, кто-то учится. Каждый занимается своим делом. Счастье жестоко. Если быть добрым и вмешиваться в чужое дело — счастья не будет.

Предначертанность сделала нас обществом нищих: возникла плата не за труд, а за приход на работу, аттестаты и дипломы вручаются не за знания, а за посещаемость, комсомольские и партийные билеты — для достижения неведомых процентных соотношений — все п о д а е т с я.

Теперь все ждут: чего же п о д а с т перестройка.

Забывая простую истину: если ждешь, когда же придет жизнь, — приходит смерть.

И теперь, когда за четыре года нам открылось богатейшее «дно», удивляет даже не это. Удивляет общественная оцепенелость. Нет милосердия как общественной категории. Прямо хоть закупай где поточную линию за валюту. Для производства милосердия. Под которым я понимаю не поправление подушки под головой или заботу о здоровье проституток, а коллективное участие в человеческой судьбе, нравственную уравниловку. Когда все — от члена Политбюро до безногого старика, собирающего бутылки на Казанском вокзале, — будут иметь равную возможность принять всеобщее участие, равный доступ к благам.

Обобщенный взгляд на мир, не требующий конкретного милосердия, добра вообще, смелость вообще, честность вообще, воспитание на идеалах — это вечное свойство человеческой природы. Форма облегченного участия в жизни. «Большое видится на расстоянии». Особенно в этой формуле чарует слух «на расстоянии». Это не новое. Новое то, что мы утери́ли в битвах и пламенах прошедших лет нравственную основу общей жизни. Масса людей твердо верит, что, когда «над», когда тревожно и звонко пропоет гордая труба, — они сей момент в седло, в атаку! Но

эта же масса готова сквозь землю провалиться, чем остановить дерущихся или дожидаться у продавщицы сдачу в одну копейку.

«Дно» потеряно для нас. Надо бороться за придонный слой. За десятки миллионов наших сограждан, живущих бедно материально и бедно духовно. За наших стариков и старух, которые не могут протянуть руку, за молодежь, выросшую в бездуховности и скуке и всегда на грани шприца, ножа, панели.

Пропасти общества заполняются расширением человеческих душ. И развитие души — впереди машиностроения, агропрома, полетов на Марс. Прежде всех других мировых уровней нужен мировой уровень счастья.

* * *

Как программа-минимум стране нужен Фонд социальной солидарности. Хозрасчетные группы помощи, имеющие контакт со всеми заинтересованными ведомствами. Фонд богатый, чтобы отправить на лечение, увеличить надбавкой пенсию, выделить средства на ремонт, дать деньги на кооперативную квартиру. Фонд без традиционной унылости регулярных пленумов и президиумных торжеств центрального руководства. Фонд народный, стоящий абсолютно над всеми организациями. Фонд, который должен стать организацией нового типа, точнее движением, еще точнее — жизнью.

В мышлении застыло следующее: все в жизни — кусок дерева, миллионный город, лодка, погода, туалетная бумага, всхожесть, кладбище — имеет где-то товарища, который за это отвечает. У которого можно спросить: это что это вы тут, товарищ, наворочали? Жизнь меняется, и каждому новому явлению — новое управление. Но беда в том, что новый аппарат — он только отвечает или в лучшем случае наблюдает, влиять или противодействовать он не в состоянии.

В обществе должна быть саморегуляция, которая не может быть на основе старших по квартире, дому, кварталу, а только на основе реального народовластия, которого мы сможем достичь лишь после признания общественности, активной части народа как руководящей силы общества.

Активная общественность — явление для нас довольно загадочное: чего активничать? О народе у нас денно и ночью заботится государство, почитайте постановления: мы с вами — как принцесса на горошине, под которую швыряют пуховик за пуховиком. Мы очень долго верили в кругооборот всего в обществе. Что мы сами для себя ничего не в состоянии? Только через что-то. У нас испаряется — где-то льется. Где-то испарилось — брызнуло у нас. Мы тут работаем — у них повысилось. Они там плохо работают — у нас исчезло. Это даже в общественной жизни. Они тогда все верно придумали и решили, а на нас до сих пор хлещет благодатный дождь. Так и ходим с зонтиками, хоть с неба давно уже ни кап-

ли. Вот этот бездушный кругооборот сделал счастье жестоким, личным, изживенческим. Отчаявшись получить что-то сверху, человек начинает жить только для себя.

Общественность должна занять главенствующую роль по отношению к партии, комсомолу, Советам, профсоюзам. Пока же общественность исключительно в одиночестве рвет себе душу за чистоту рек, невиновность людей и охрану памятников, лишь изредка получая ласковое постановление со снобистской формулировкой «пойти навстречу». Это кому пойти навстречу? Это откуда куда пойти?

Более того, последнее время скромный рост путаной, но искренней народной активности вызывает какое-то недовольное цыканье. Слова одного из делегатов XIX партконференции заставили перевернуть газету на первую полосу: господа, это какой год-то?

В. И. Калашников, первый секретарь Волгоградского обкома партии: «Хочется спросить: а кто же, кроме партийных органов, сегодня реально занимается перестройкой на местах? Неужели это те крикуны, которые выходят на улицы с сомнительными лозунгами и предлагают создать какие-то комиссии, комитеты содействия перестройке, вплоть до создания новой политической партии, о чем уже здесь говорилось?»

Что, опять у нас на корабле появились лишние? Опять счастье добываем «мы», а они, значит, захребетники? Опять мысли выражаются в грубоватой отеческой форме, разительно напоминающей сержантскую?

Опять счастье будет жестоко?

Товарищи, служить народу — это не значит командовать им!

Мы должны не останавливаться на модернизации выборной системы, на слиянии и разделении кресел. Нужно растить принципиально новые формы народовластия. Воспитывать людей во взаимосвязанности, взаимообусловленности. Жильем, бытом, культурой, самоуправлением. Нужны общественные гарантии непотопляемости человеческой судьбы — в этом один из путей отмирания государства. Любое государство приводит к загниванию верха и низа и равнодушию середины. Нам трудно экспериментировать, пока на нас смотрят не только глаза, полные надежды, но и межконтинентальные ракеты, но то, что можно, надо менять уже сейчас.

Пока социалистическое общежитие прочно ассоциируется с тараканами и пронзительным взором старушки на вахте, пока у приемной Верховного Совета СССР каждое утро скорбная очередь, пока на Тверском бульваре сиреневого цвета милицеских рубашек больше, чем зелени травы, мне не хватает силы быть добрым.

Но мне не хватает счастья быть жестоким.

* * *

Директор дома-интерната для престарелых:

— Если мы есть, значит, общество гниет.

Ему трудней всего летом. Летом в интернат очередь. Сразу не бе-

рут. Надо ждать, пока места освободятся. Они действительно освобождаются, как осень — почти свободно. А сейчас к директору приходят солидные люди и требуют: мою или моего — без очереди! Почему? Ведь я...

Кто?

Кто мы — хорошие, капризные, чудесные, светлые, крохотные, лопоухие, с пузырями на колготках и зеленкой на сбитых пятках, бегущие навстречу спасительным и всесильным маминим рукам, кто мы — несущие своих матерей на носилках умирать, несущие из своей памяти, от себя, из себя. И себя.

Ида Соломоновна Коган, дорогой, прекрасный, милый и великий вы человек!

Ей — 87, она с трудом садится в кровати.

Ида Соломоновна — руки с почерневшими жилами, сухие, горькие птичьи руки. Голубые глаза — как надречный лед.

Отца убили жандармы, брата сослали за печатание «Искры». Работала по культмассовой части в Варшавском военном госпитале в Москве. И, понимаете, товарищ Саша, ее все звали «комиссар». А она тогда говорила: «Я не комиссар, я — Коган». Когда в палатах играли на еду: кусок хлеба или сала, — она тогда говорила так: «Товарищи, вы знаете что, на продукты не играйте. Вам скоро выздоравливать — пойдете на фронт защищать Советскую власть, а ему надо поправляться. Может, ему мать последнее прислала. А то придется бросать карты в печку-буржуйку».

И — Бетховен. Раз в месяц профессора Московской консерватории играли для раненых Бетховена. На концерты приносили даже лежачих. Профессора получали за концерт стакан кофе и два куска черного хлеба. Тишина была жуткая. На концерт пришла Крупская. Она поразила тишине. Она сказала: я обязательно расскажу Владимиру Ильичу. Это был самый счастливый день. Кроме Бетховена, был драмтеатр. Была комедия «Мнимый больной». Коган играла самого больного, лежала на кровати. На настоящей кровати, на больничном матрасе. Было смешно. Потом матрас оказался из сыпнотифозного отделения.

Она болела четыре месяца. Очнулась, когда кто-то сказал над головой: «Ну что? В морг?» На двух костылях и в платке умершей соседки приковыляла в свой госпиталь. Комиссар увидел ее и заплакал: «Ведь ты умерла».

Двадцать три года работала в Институте марксизма-ленинизма. Напечатала для картотеки миллион карточек на двадцати языках. В 1955 году пошла на пенсию. С 1960 года — одна.

Она жила на сорок пять рублей в месяц. У нее была одежда умерших сестер. С невероятной жадностью она читала, ходила в музеи, не пропускала ни одной выставки, покупала билеты в театр за сорок пять копеек на ступеньки безельтажа. «Я очень скромно жила», — вырвалось у нее. И только она знает, как можно так жить. Я — не знаю. И ни слова жалости, ни слова страданий...

Она все время улыбается. Ида Соломоновна, милый вы человек...

Пять лет назад стало немого. Понимаете, товарищ Саша, она никому не хочет быть обузой, и первое, что она сказала, придя в дом-интернат: я буду работать. Иначе бы я к вам не пришла. Стала в библиотеке доктором Айболитом: подклеивала корешки у истрепанных книжек, читала слепым, набирала им телефонные номера, письма писала. Когда могла лучше ходить, разносила газеты. Сейчас хуже стало с памятью — приходится на каждой газете писать фамилию, куда нести. Хуже стало и зрение. Читает всего по полчаса. Как жаль, как жаль.

Она рассказывает, какой здесь вежливый медперсонал и как хорошо кормят, и как здесь вообще хорошо. Я знаю, что это неправда, что санитарок жутко мало, что тех, кто есть, самих впору запирать в интернаты, — и я никак не пойму: забитость это или душевное величие...

— Мы все горели, мы все были готовы отдать. И я уверена: мы выстоим. Мы победим. Несмотря на то, что Сталин уничтожил столько лучших людей, мы победим!

Она смотрит на меня. Я смотрю за окно.

В этом доме из шестисот — четырехста лежащих. С большинством общаться уже трудно. Каждый год освобождается треть мест. Детей нет только у десяти процентов.

А за окнами — солнце и ветер.

— Ночью, когда я не сплю, я вспоминаю, сколько хороших людей было в моей жизни, сколько счастья и тепла. И сколько людей здесь, скольким из них нужна помощь. Были бы только силы, мне бы только силы...

Она встает, совсем крохотная, сгорбленная, протягивает мне руку, и я чувствую себя пигмеем. А за моей спиной на зеркале несколько пожелтевших фотографий — женщины с бархатными глазами. Фотографии стоят так, чтобы их можно было увидеть лежа.

Я невесомо беру ее ладонь. Ида Соломоновна вдруг цепко жмет мою ладонь и строго говорит: «Руку надо пожимать вот так, товарищ. Чтобы чувствовать силу. И передавать ее».

В коридоре сидит старик. Он один. У него недавно умерла жена. Тоже здесь. Он поднимает свою седую голову. Мне кажется, он похож на меня.

* * *

Когда окно вздрагивает от ветра, чернильные ветви деревьев ловят в свои сети колючий звездный свет — я не сплю, — дождевая капля влажным червячком таранит извилистый след на окне. Ночь выворачивает наизнанку. Она дает самого неприятного собеседника — себя самого.

Я сейчас поставлю точку.

И что будет с этими серыми мимолетными газетными страницами: их будут читать в поезде, а потом завернут в них колбасу, пробегут пе-

ред сном у телевизора, будут искать «про спорт» на коленях под партой, оставят на память, выбросят, сдадут в макулатуру?

Интересно, странно. Страшно.

Каждый боится старости, как ремонта. Когда смыта старая побелка, неприятно висят старые обои, все дорогое вынесено и нанесено порядком грязи. А ремонта уже не будет.

И ничего не будет.

Я сейчас поставлю точку.

Но я хочу еще сказать, что, когда мне страшно жить и осень на улице, я уезжаю в маленький городок и добираюсь по рыжей размокшей глине в небольшую библиотеку, в старый купеческий дом, чтобы увидеть старых людей, перебирающих сухими руками страницы, набирающих целые охапки книг и медленно, боясь оступиться, бредущих в свои хааты, где за полночь — экононый настольный свет, и белые страницы, и чужие миры, боли и радости, и свое неумирающее великое чувство сопричастности, щемящее, светлое, непобедимое.

И тогда я чувствую силу. И верю, что если доброго счастья нет, это еще не значит, что его не будет.

Я ставлю точку.

СТРАХ ПЕРЕД МОРОЗОМ

Вокзалы — это перекрестки нашей жизни, место, где мы оставляем накатанную колею, пересекаясь с множеством путей других людей, попадая под влияние суммы условий, составляющих суть этого перекрестка. И перекрестки эти — вокзалы, больницы, магазины, ателье, прачечные, столовые, аэропорты, общественные туалеты — это всегда экзамен нашего порядка, умения думать и делать. Это показатель чистоты дыхания нашего общества. Придите ночью на вокзал, в аэропорт — вы услышите, как хрипло, нутужно мы дышим, задыхаясь, даваясь тромбами. Ночь выщевивает осадок. И он страшен.

Люди спят на полу в 1988 году.

Люди спят, и они, наверное, счастливы — потому, что заранее выбрали, приглядывали себе место. Кто поудачливее — вдоль стены, кто позже начал искать — поперек прохода. Им и неловко, и стыдно поначалу, но усталость стирает настроение, выражение лица, осанку, самого человека. Остается один сон на всех. Повальный, жуткий, постыдный.

Люди спят, привалившись плечом к плечу, с беззащитными детскими выражениями лиц, на которые больно смотреть. Мужья неловко обнимают жен, стыдясь выставлять напоказ, на всеобщее публичное рассмотрение этот естественный для двоих жест. Матери кладут детей к стене, сами ложась к проходу. Дети спят с тревожными белыми лицами, напрягшимися от духоты и жары. Спят на газетах, мешках, чемода-

нах, на голом замызганном полу. Безногий спит, положив голову на сиденье.

В этом море перемешались дорогие дубленки, солдатские шинели, валенки, сапоги, детские шубки, куртки, шапки всех мастей. Спят рабочие, врачи, школьники, офицеры, учителя, директора. Это равенство. Унизительное казарменное равенство, которого достичь легче всего.

Наши трудности — это горько. Мы привыкли все оправдывать погодой, ошибками руководства, недостатком стройматериалов, дефицитом сырья, низкой квалификацией исполнителей. Мы привыкли терпеть. История научила нас дисциплине. Но теперь, когда хлеб уже давно не по карточкам, когда уже не так хрипло дышат в спину классовые враги, откуда в нас теперь всеобщая покорность — готовно приниженное чувство человеческого достоинства? Не Батый же нам его оставил, не родимое пятно царизма — наша беда.

Если мы не оставляем людям выбора — мы должны заботиться о том, чтобы единственный путь был лучший. А пока вылет и выезд для нас не обыденность — праздник. И при этом, имея, как данность, всеобщую покорность, возникает, может быть, неосознанный соблазн использовать нашу человеческую неразвитость в благих с виду целях — пока построим, пока выбьем фонды, пока улучшится демографическая ситуация...

Но это «пока» длится десятилетиями!

Нельзя воевать с трудностями ценой человеческих потерь.

Человеческие потери в цивилизованном обществе — это не холмики с пилоткой, это обнищание души, условия, ведущие к выветриванию человеческого содержания, нравственной эрозии.

Человек, который спит на полу на вокзале, мучается в бескрайних очередях, видит грязь и грубость, никогда не будет слушать по телевизору длинный доклад, никогда не почувствует себя хозяином завода, никогда не прочитает биографию кандидата на выборах, никогда не даст кров другому — ему уже не дали. Это стыдно, что людьми мы становимся, когда наводнение, пожар, взрыв, — неужели только трагедия может поднять наши головы?

Куда ушло из нас достоинство? Из всех сразу. Лишены достоинства и те, кто спит на грязном вокзальном кафеле, и те, кто руководит этими вокзалами. Я не верю, что для того, чтобы к людям относились по-человечески, прежде всего нужны миллионы рублей, совокупность могучих и пунктуальных поставщиков. Прежде всего нужна порядочность. Общечеловеческая, внесистемная. Производное от достоинства.

Мы делаем фотоаппараты, велосипеды, компьютеры, яхты, видеобары, центры аутотренинга, орбитальные станции, мраморные памятники и гранитные набережные. Но люди, которые это делают, мучаются в нечеловеческих условиях в ожидании поезда или самолета. И не могут вовремя уехать.

Как может любой советский руководитель (начальник этого же вокзала), воспитанный и взращенный нашими ценностями, начинающий каждую свою речь перед коллективом пышной шапкой цитат и перечислением партийных решений, — как он может спокойно спать, совершенно точно зная, что на вокзале порой нигде ступить от лежащих тел?

Беда наша тем опаснее, что мы не чувствуем ее. Если человек не чувствует боль, — любая болезнь становится последней.

Первый раз я задумался о том, что у меня нет человеческого достоинства, в армии. Там я понял: мне чего-то не хватает, чтобы назвать себя человеком. Меня, оказалось, очень легко унижить. Вся армейская система внеуставных отношений — «дедовщина» — построена на каждодневном унижении — физическом и моральном. Об этом надо говорить: правда дика. Служа в отличной части, я полгода не имел права умываться по утрам и вечерам, ходить в библиотеку, смотреть телевизор. Первый раз меня повели на «разбор» в туалет, потому что на просмотре единственно разрешенной программы «Время» я сел чуть в стороне от ребят моего призыва.

Как мы по-детски запальчиво верили в чеканные парады на Красной площади, взволнованный голос диктора из «Служу Советскому Союзу», в фильмы, где солдаты всегда румяны и с чеканным «Есть!» на устах, и как я удивлялся, почему плачет моя мама, провожая в дорогу, которая ведет к возмужанию?

Мы привыкли жить в двух плоскостях: в мире реальном и в мире трибунных слов, социалистических обязательств, изготовленных типографским способом. Люди рвали себе души на сломе этих плоскостей. Люди, наши прекрасные люди, переставали верить в себя, чтобы верить, что есть, обязательно есть эта святая общая справедливость, просто не хватило ее именно на него. В армии я понял, что справедливости не хватает на всех. И там придумывают свою справедливость: в порядке очереди. Моделируют наше общество на свой манер: один класс подавляет другой, чтобы стать человеком — надо кого-то унижить. И это не кончается отметкой в военном билете и паспортом на руках.

Нравственные потери — как радиация: без цвета и запаха — и тем еще страшней. Человек, которому дали понять, что он ничто, потом очень легко живет. У меня сводит скулы, когда при мне говорят: «Армия — это хорошая школа жизни». Но это правда!

Я ненавидел до армии длинные очереди, возмущался формализмом комсомольских собраний, болел за что-то душой — после армии мне стало покойно. Я видел и вижу вокруг себя привычные армейские унижения. И как мало всем нам надо для счастья! Пусть очереди, и продавщица орет — зато купили! Пусть спим на полу — зато поедем! Пусть без места, в холодном вагоне — но все-таки домой! Пусть начальник матерится — но ведь не бьет! Пусть туалет грязный — но все лучше, чем поле чистое! А разве редко бывает, когда коллектив объединяется из-за бездельницы, пустяка против новичка и травит его без жалости лишь за то, что

он не похож на всех? Не надо торопиться во всем винить армию — и совсем не потому, что военные очень болезненно на это реагируют. Армия — это зеркало. Там мы понимаем, чего стоим. И она действительно учит жизни. Но какая тогда грустная у нас с вами жизнь.

Не армия виновата в психологической начинке внеуставных отношений. Парадоксальный круговорот, не дающий утихомирить «дедовщину», заключается в том, что человек, которого год унижали, сам потом унижает и бьет. И тем сильнее, чем били его. Откуда призрачное убеждение: чтобы самому вылезти из проруби, надо наступить рядом тонущему на голову? А ведь это очень старый и традиционный способ продвижения к цели, который мы выработали во времена волевых решений сверху. История складывалась так, а потом мы уже так подлаживали свое настоящее под него, что продвижение вперед прежде всего обуславливалось сокрушением, уничтожением чего-либо: нэпмана, кулака, оппозиции, морганистов, ныне — кооператоров. Победа — это взмах пашки, и чья-то головушка в кустах. Время вынужденно зверских отношений прошло, и если мы хотим действительно жить в соответствии с новым мышлением, реконструируя достоинство человека, уважая его и любя, надо держать в памяти новую арифметику. Продвижение вперед — это умножение сторонников, а не вычитание и дробление противников. Это совсем не взаимообусловленные процессы. Просто первое легче. Проще плюнуть в спину прошлому, чем стереть плевков с будущего.

Поэтому наивно призывать бороться с противниками перестройки. Большинство из них — бессознательные. Мы не можем вбивать им в голову новые истины, как рефлекс. Не осознавая нового, не вживаясь в него, они не смогут придать ему творческое развитие. Надо убеждать, доказывать, перемещать. Людей! Но не противников!

Постоянно обращаюсь к армии не потому, что она — корень всех бед. Уровень человеческого содержания в обществе определяется по минимуму: в сферах традиционно ограниченной свободы действий — армии, тюремном заключении.

Жизнь не кончается за забором с колючей проволокой или воротами с красной звездой — в обществе действует неумолимый закон сообщающихся сосудов. Даже в тюрьме надо уважать человеческое достоинство заключенного. Человек — продукт общества. Нечестно отречься от своих детей. Они — это мы. И выступая за отмену смертной казни, мы щадим не убийц-душегубов. Мы щадим себя. Поднимется хоть на крохотное деление уровень тепла там — станет теплей и у нас.

Первый серьезный шаг — участие в управлении государством, голосование на выборах — миллионы молодых граждан нашей страны делают тоже в армии. Об этом событии с удовольствием вспоминают целый год. Смешная игра в демократию достигает такого размаха, что «подъем!» уже не кричат в день выборов, а командиры части самолично трясет ласково каждую кровать под веселую музыку, и еще до рассвета солдаты

идут на избирательный пункт — упаси бог строим! — толпой сделать свое дело: проголосовать и уйти под покровом темноты, не видя ни одного человека из народа, с которым армия вообще-то едина. Армия на выборах закладывает фундамент дисциплины и организованности, которая почему-то должна проявиться в том, что столько-то человек проголосовало к такому-то часу. Если в этом проявляется сознание граждан, то выходит в идеале: все общество, как армию, поднять утром и — шагом марш! — на пункты?

Первый раз на моих глазах умер человек на тихом вокзале небольшого городка. Дежурная по вокзалу пару раз перепутала путь, на который принимался поезд. Среди выданных билетов часто встречались «двойники», обрекающие людей действовать по звериному принципу «кто смел, тот и съел». Поэтому пассажиры, и среди них — этот человек, бежали через мост от платформы к платформе, встречая свой долгожданный поезд. Человеку повезло — он добрался до вагона первый и, тяжело дыша, стал протискиваться в тамбур, не выпуская из рук двух чемоданов — чемоданы были нужны, чтобы занять сразу два места — с ним были жена и дочь; он хотел, чтобы они могли хоть посидеть, если не хватит места для сна. Сердце у человека не выдержало в узком вагонном коридоре. Он упал лицом вниз, а через него, суетливо пыхтя, переступали пассажиры, передавали коробки и сумки — люди торопились занять места.

Дочь делала ему на перроне, куда человека наконец вынесли после того, как все расселись, искусственное дыхание. Умело делала — у человека было, наверное, часто плохо с сердцем, но он его не берег. Он хотел занять места. Наша жизнь не оставляла ему выбора. Дочь дышала с жалким стоном, надавливая ритмично человеку на грудную клетку, в ее ладошках была жизнь самого дорогого человека, который в детстве казался вечным, а вот теперь на сером асфальте, после счастливо проведенного отпуска, лицо его становилось чужим и страшным. Люди стояли вокруг, проводница оглядывалась — как там светофор, не зеленый? Из окон глядели пассажиры. Человек умер.

На перрон вынесли его чемоданы. И поезд ушел.

Иногда кажется, что экономическую рубашку нашей страны изначально проектировали, учитывая безропотность и покорность. Теснота неуязвок, бестолковостей, верхоглядства вынуждает нас расставаться с изначальным человеческим, гордым взглядом на мир, который есть в детях. Но, с другой стороны, кто еще, как не мы, кроил и сшил эту рубашку? Получается, мы сами себя обрекли на то состояние, в котором находимся. Мы достойны того, что сделали.

Судьба народов зависит от «золотого сечения» народной души, «золотого сечения» нравственного здоровья, способного превозмочь любой вызов истории. Мы не верим в то, что каждый народ имеет время света и время тени. Это утешение слабым. Мы верим в свое «золотое сечение». Мы хотим быть сильными.

Экономический строй, запрограммированный на жестокую централизацию и дисциплину, дал глубокие корни в духовную жизнь. Десятилетиями властвовал незыблемый окрик «план — закон!», звучали директивы о сроках сева и уборки, жила твердая вера, что железный кулак команды может все, а если не все — значит, народ распустился. Время ушло, а наш пароход все еще грозно махал в пустоте обнажившегося русла громадными лопастями, на палубе играла музыка и развевались флаги. Безоговорочное и безусловное подчинение уже не обуславливалось экономическими и политическими реалиями жизни. Это порождало равнодушие. Готовность проявлять человеческое достоинство только по специальной команде. А команды такой не было.

Недопустимое наше заблуждение, что достоинство — это личное дело каждого. Что-то вроде приусадебного участка. Сам, дескать, береги честь смолоду. Но достоинство — не общее одеяло: с одного стянешь — тебе достанется больше. Достоинство — это воздух. Если отнять у одного — всем станет труднее дышать. Оно не бывает действительным или страдательным — одно за счет другого. Только всеобщее — тогда мы живы, тогда мы добьемся всего. Потому что коммунизм — это Человек. И не больше. А что может быть больше?

Мы забывали, что достоинство — это государственный золотой запас и хранить его — всем.

Когда мы перестали понимать, что власть — это наша власть? Что народные комиссары, которых мы, на кого-то спешно равняясь, переименовали в министров, — это наши слуги? Говорю высокопарно лишь для того, чтобы отметить: пока некоторые министры орут матом по селектору так, будто все подчиненные — его слуги. Их можно понять — прошлое еще с нами, время и сейчас жестоко, и мало у нас новых людей и средств к движению. В этом драматизм перестройки — надо растить новое на ходу, ни в коем случае не сбавляя темпа. Страна не локомотив — ее не загонишь в депо на ремонт. Нам не на кого равняться — только на свое будущее.

Перестройка осуществляется с кровью. Выросло безликое поколение «поднятых рук». Нам слишком долго было все равно, кто попадет в президиум. Поэтому там порой оказывались те, кому это было не все равно, — карьеристы, приспособленцы, а теперь бумеранг нашего равнодушия стоит поперек горла переменам. Самое тревожное, что в огромном количестве людей на смену личному достоинству пришла психология болельщика: я за команду не играю, я за нее болею. Перестройка? Ну что ж, давайте посмотрим, как у вас получится. Пршлое оставило нам рефлекс общей лямки, рефлекс бурлаков. Один командует — все тащат. Каждый отдельно не думает.

Мы не сможем осуществить перестройку, не сделаем ни одного шага, пока не вернем обществу четкие установки на первоочередную ценность человеческой личности и безусловное ее уважение. Без этого теряет смысл демократизация. Голосующее большинство людей, лишенных

достоинств, ни за что хорошее не проголосует. Коллегиальное решение не будет свободно от ошибок, пока решают не личности, а личности лишь постольку, поскольку позволяют время, условия, начальник, выгода. Пока каждый живет лишь в меру чьего-то позволения, а не в меру представлений о своем долге перед Родиной.

Общество, идущее вперед, никогда не застраховано от ошибок. И сейчас их цена велика. Единственная гарантия от губительных просчетов — это проверка каждого нашего шага критерием: растет ли человек? Цена цели, какова цена цели — этот вопрос должен сопутствовать каждому нашему устремлению. Ломаем ли мы старый дом, строим завод, пишем статью — прежде всего мы строим человека.

Если нет, зачем тогда все это?

Надо, чтобы люди помнили, что они люди и в приемных больших начальников, и на вокзалах, и в магазинах, и на собраниях, и в больницах, и в школах. И боролись за это. Словом и делом. Ощущая поддержку и уважение в случае ошибки.

Если мы все будем чувствовать себя людьми, мы перестанем считать тех, кто нами руководит, богами, и всем будет легче. Мы перестанем шарахаться от множества мнений и многообразия жизни. Тогда мы все поймем, что от меня, тебя, вас, всех конкретно зависит судьба нашей Родины.

А пока лишь верхушку качает ветер перемен — мы пока здесь, внизу, в корнях. Надо расти. Это не прекраснодушный призыв. Это нам выгодно. Многие называют наше время оттепелью. Но только в природе оттепель бывает два раза в год — осенью и весной. В жизни от нас только зависит, что будет после оттепели: щедрое и жаркое лето или студеная зима.

Когда деревья вымерзают до корней.

СЕКРЕТ

Эти строки ни к чему не обязывают читающие их глаза.

Они не потребуют бланков с перечнем принятых мер. Все дело в том, что я ничего не могу сказать наверняка, — это главное, на чем я настаиваю. Легкомыслие избавит от необходимости объясняться и спасет от излишнего напряжения — в этом основа свободного естества и нежелания чужой крови: ничего не говорить наверняка.

Все — наверное.

Мартирос Варганович Кещян. Нет, если хотите, можно даже так: Матрос Вратарьевич Кощей. Ха-ха! Цыц. Ну вот.

Историю честнее всего рассказывать с конца. Зная, чем она кончится, легко решить, надо ли слушать. Но конца я не знаю. Кто может сказать, чем кончится жизнь?

Мальчик Мартирос сильно болел. Мудрая тетка посадила в землю два корня чеснока. Один по имени Мартирос. Другой — Грачик. Так звали другого теткинго племянника, здорового, как бык. Корень Грачик вырос первым. Все стали звать мальчика Грач. Осталось и другое имя — Мартирос («ну, не Сарьян, конечно, но в честь деда»).

История — удел равнодушного времени, болезнь освободившихся людей. Все прочие времена и люди во всем видят трагедию или анекдот в зависимости от потребностей выкручивающей руки эпохи, а это неправда, потому что смех и боль — все едино: все слезы людские; все делает одинаковым беспамятная душа свободного человека: и «Ревизор» — трагедия, и «Ромео и Джульетта» — забавная хохма. Когда люди перестают понимать освободившее их время, они отвергают знаки восклищательные, требующие ордена, и знаки вопросительные, грозящие плахой; они начинают не только прошлое, но и нынешнее время почитать историей, а история — это пешком вдоль берега морского, оберегая ноги от быстрой волны, что шипит синим платком с белой пенной бахромой и отступает, растекаясь извилистой арабской вязью, искать, поднять выброшенную водой ветку, часть чьей-то жизни, и думать при этом можно о том, что было с этой веткой, вымытой до костной белизны, или о том — что нравится мне, — что будет с нами.

Хотя такая история похожа больше на секрет. Что делает невозможным знать ее окончание.

А мы начинаем, товарищи, мы начинаем, есть такой анекдот: «Выступает на пресс-конференции представитель Аэрофлота: «Мы выпустили новый самолет! Ту-150! В нем семь этажей. В первом — багаж. Во втором — пассажиры. Третий этаж — экипаж. На четвертом — кинозал и бар. Шестой — магазин и библиотека. И седьмой этаж — бассейн. А теперь давайте глянем: взлетит эта дура или нет?»

Глаза у него полны стеклянно-чайной тоски.

Село Черешня (под Сочи) делилось на районы: Черешня, Бассейн, Социализм; имело один телевизор и клуб, где женщины рыдали над индийскими фильмами. Отец его, Вартан, порывался в цирковые, да мама не пустила. Он кружил по миру, как по манежу: инкассатор, директор вагона-ресторана, шеф-повар, сапожник, выращиватель бамбука, творец гранитных надгробий. Мать его, Арменуи, учительница — тетради, тетради, тетради... Грач вспоминал с трудом: брат в Тюмени... вертолетчик. Сестра сумочки шьет. Кто из них младше? Кто... из... них... млад-ше... (все эти проклятые переезды). Брат! Если не сестра — она, по-моему, младшенькая. Если не брат.

Но сам-то он — старший!

В овраге за селом лежал мраморный Сталин, ходили смотреть — страшно.

А настоящее имя дрессировщика Б. Селезнев, не Борис, а Берия. Берия Селезнев!

Секрет роют в песке или мягкой земле, чаще — под деревом. Дно ямки застилают фольгой, на нее — лепестки и цветы одуванчика, ромашки, василька, вокруг — травы, а сверху — осколок бутылочного стекла, потом — землей. Рыхлят землю и рядом, чтобы приставучие девчонки, которые всегда подглядывают, искали там, а там — пусто! Правда, иногда сам хозяин забывает и долго не может найти; совсем нет гарантии, что я, вернее, он, найдет, тут ничего нельзя сказать наверняка... Зато когда палец проваливается в податливую землю и в крохотной капельке вдруг открывается не тронутый осенью победный, яркий мир...

Грач не пил, не курил, играл в театрике школьном, мочал на барабане в ансамбле англо-армянский репертуар и песню всех времен и народов «Синий, синий иней» — нет, слуха нету, но на барабане любил, очень, особенно заветное — ту-ды, ту-ды, бу-бу-дзынь!

Комиковал — по хилости другим выделяться невозможно, прочили его в повара (хоть подрастет), а пришел в школу смешной, длинный человек и сказал: «Я Иван Иванович Степанов. Давайте в цирковую студию».

Давайте!

Грачик делал пантомимы; в селе жила пятилетняя глухонемая девочка — она понимала все, смеялась, хлопала, понимаешь? Он говорит: «Анимазеешь?»

Как-то вот интересно тогда жили, не скучали, а?

Поет труба протяжно и грустно в цирке пустом.

Сумрак, скорбный, как беззубый рот...

Его недавно встретил Степанов: «Что-то, Грач, изменилось в детях — ничего делать не хотят, ничего не надо. Новые времена...»

Сумрак, скорбный, как беззубый рот, пройдите до центра этой красной мишени, мимо следов конских копыт на дне воздушного сугроба — завтра, завтра будет, завтра — как будто замерший отчаянный вдох; а все это — оркестры, парад-алле, полеты и прыжки, антре и штейн-трапе, тигриные спины — это выдох, измученное дыхание одних и тех же движений, слов, улыбок, и опять — вдыхать, копить по ночам к единственному выходному этот протяжный, на две тысячи четырнадцать мест, вдох.

Зима. Товарищ, привязавшись веревкой, чистит от снега лысую макушку купола.

Ведь слово какое: штейн-трапе!

В Москву приехал поступать: деревня деревней. На ВДНХ: ух ты, ракета, ах ты, черт, самолет! «Ту сто пятьдесят» столько-то, ах, чтоб твою, вон за елками еще один — «Як сорок», народ в него заходит и заходит, заходит и прет себе еще, самолет ведь кроха, а народу — вишь, какая прорва влазит, вишь, до чего додумались (заходит и заходит), давай, что ль, и мы взлезем, зашли — там из хвоста выход!

Отстучал телеграмму: «Приняли!»

Пожалели за рост — метр пятьдесят с волосами плюс жалостный акцент при исполнении басни.

В комнате общаги — четверо. Один бросил («не знаю почему»). Второго посадили («почему — не знаю»). Остались: Грач Кещян и Сережа Середа. Решили работать вместе — единственная пара клоунов на курсе: Кещян и Середа! Даже так: КЕЩЯН и СЕРЕДА!!!

В училище гении все. Все приезжают с чемоданом динамита: взорвать! А тут: грим, сценическая речь, танец, пластика, изобразительное искусство, актерское мастерство, фехтование. И история КПСС.

С выпускного курса их — хлоп! — в армию. Грачик и Сережа подобрали в гастрономе бездомную болонку, вымыли, тащат в общагу — а там повестки. Сели на кроватях — жуть. И собака завывала.

Обстригли, переодели, марш в столовую! Перед дверью — зеркало, прыскают: ну и рожа, а эта, а вот та хе-хе... Стоп! Зеркало прошел, всех увидел, кроме себя. Мигом вернулся. Вот это — я?!

С Сережей кровати стояли рядом.

Эквилибрист Гук не сдался. Писал в инстанции: как же так, народные деньги в трубу, теряем квалификацию, надо бы использовать по специальности.

«Рядовой Гук, к комбату!».

«Дописался, армян, за мной пришли».

Гук косил под простого. Зашел: «Здравствуйте, вызывали?»

«Вон отсюда! — заорал комбат, — зайти как положено!»

— Товарищ подполковник, рядовой Гук...

Комбат значительно встал, залез в заранее заготовленную пачку «Столичных», картинно повернулся к окну и закурил, шевеля ноздрями:

— Пишешь?

— Пишу, — скромно признался Гук.

Комбат затянулся:

— Еще раз напишешь — отправлю всех на Землю Франца-Иосифа. Навозными вилами будешь жонглировать!

— Как вы сказали... «на-воз-ными вилами»? — уточнил Гук. — Так и напишем...

— Вон отсюда!!!

Через месяц их перевели в ансамбль песни и пляски.

В армии Грачик в первый раз понял, что хочет работать один. Соло. Что-то стало расти изнутри, давить. Сережа выслушал это, Сережа грустно посоветовал: не торопись, давай хоть начнем.

После армии женился Сережа, и Грач женился. Жена — Тамара. Жили рядом, правда, дядя ее был против — не любит цирковых, но тетя его была очень «за» (покойница), ходила провожала и встречала с работы Тamarу, чтоб никто, не дай бог, не пристал.

Когда обручение — невеста выносит свекрови и свекру на подносе собственноручно расшитое полотенце (магазинный ценник аккуратно срываю).

Когда свадьба — незамужнюю сестру невесты наряжают тоже в белое и фату — она на выданье.

На свадьбе шестьсот человек гуляли семь дней.

Потом — диплом и выпуск. В училище — Грачик, в дипломе — Мартирос. На дипломе расписались Никулин и Карандаш. Все!

Воробьи чирикают под куполом.

В квадратные амбразуры распахнутых дверей — студеной февральский свет. Пустой подсолнух зрительного зала.

Ночью накануне невеста проснулась и подумала: «А может, встать и убежать?»

Вверху летают люди, матерятся, хватаясь руками за руки в воздухе, или в томительной немоте запнувшегося сердца врезаются звонкой рыбиной в тугую страшющую сеть.

Внизу елозят носами по вытертому бархату манежа два малыша. «Слава, я кому сказал, сиди на месте!»

Среди пустого оркестра стоит на голове товарищ в синей майке.

Тоненькая «из полета» вынимает свои ножки в голубых носках из стоптанных тапок и лезет туда, куда только от сопровождения взглядом немеют ноги.

В красном уголке — профсоюзное собрание программы.

На барьере трупами лежат ассистенты. Лениво cedят малышам: «Напёрстки... э, покажите чтэ-нибудь силовое».

Наперстки делают шпагат.

После выпуска Грачик бил челом — хочу попробовать один.

Его вразумили: молодой специалист должен отбарабанить два года. Да и вообще по плану больше клоунов соло не положено.

В цирке не говорят «месяц», «квартал», «год» — в цирке нет времени. В цирке говорят «город» — «я это сделаю за город».

И пошли у «парных коверных» Середы и Кещяна город за городом. Образы такие — Сережа прям та-акой из себя, ну, та-акой, а Грачик — на подначках: принеси, отнеси, иди, уйди.

Клоун белый: умный, рассудительный, склонный к злой шутке.

Клоун рыжий: дурак. Побеждающий в конце концов.

Клоуны в СССР (по Кещяну): 1. Карандаш. 2. Енгибаров. 3. Никулин и Шуйдин.

Товарищ в синей майке в оркестре встал теперь на одну руку и начал потихоньку вращаться.

А она, «из полета», опять не дотянула и бьется в сети внизу под советы и упреки, закусывает губы и медленной гусеницей — вверх.

Собрание: «Наши обязательства: организовать советско-американскую программу».

«Ха-ха, а кто будет американцами?»

«Товарищи, есть договоренность: приедут».

«А может, лучше мы к ним?»

Меня толкают в спину, нате — бумажечки с лиловыми штампами, «товарищу корреспонденту», надо ведь и вам что-нибудь кушать (очень справедливо) — талоны на сахар, колбасу, мясо.

Тонкая и сухая, как птица, «из полета» пробует теперь уже без лонжи; в сладкой, как боль, тишине несется навстречу рукам — нет! — опять об тугую сеть, господи! Наташа, как ты держишь руки!

Товарищ в синей майке все еще стоит на одной руке, а во вторую взял ключую блестящую штуковину и крутится теперь с ней.

Мимо манежа Тамара депортирует детей домой.

«Грачи пролетели. В какие края?»

Униформа торгует винцом. Бутылка — восемь рублей.

Когда помер Брежнев, Кесяна и Середу вызвал руководитель программы. «Так, — печально сказал он, глядя на траурные ленты за окном. — Есть у вас что-нибудь несмешное?». «Нету», — ответили коверные. «Тогда работайте без костюмов и без грима. И не смешите».

Они вышли на манеж в своем. Первая реприза — иллюзионная. Посмотрели друг на друга. Сережа выплюнул изо рта оранжевый шарик. Грачик достал такой же из своего уха. Дирижер в оркестре свалился от смеха на пол, в цирке звенели стекла от хохота. Оставшиеся дни траура коверные выходили в униформе, помогали перетаскивать реквизит. Дети реагировали очень живо.

Онирослись сиаменскими близнецами.

«В Краснодаре отработали до нас акробаты: мужчина и женщина. Все так хорошо. Ассистент их железяку поднял на веревку, веревку сунул в руки униформисту. Мы с Сережей выходим, болтаем: тара-ра, тара-ра, ра-ра. Бац! — униформист выпускает веревку из рук. Раз! — мы с Сережей не сговариваясь делаем шаг друг от друга: железяка грохается между нами! Что делаю я? Я решаю обыграть. Оборачиваюсь — ах! И падаю замертво. Ассистент, в дикой панике летящий за возможной судимостью, видит: я пластом и без движения — убило! — и с плачем лезет меня спасать!»

Двое детей — Грачик-младший («папа наш не хотел сына, мы так с ним плакали») и Гаянэ («по пять раз в роддом приходил»).

Жена Тамара: «Одно меня злит — как скука замучает, начиная ему вкручивать: ну, когда ты устроишь ассистентом? Вот уеду домой — один будешь. Он поворачивается, дверью ба-бах! И все. Ни слова.

Плохое настроение — раздевается полчаса. Потом в ванную идет.

Хорошее — с порога целоваться лезет: «Томуля, я пришел, давай ешь!»

Старший Грачик ждал шесть лет. Он все надеялся, что кто-то придет и отпустит. Он боялся открыть рот в споре с Системой. С «Союзгосцирком».

Нет, они очень дружили с Сережей, но в голове у него жил клоун один, душа шила и кроила на него... Он никому про это не рассказывал — боялся обидеть: вот ты, Грачик, какой, Сережу бросить хочешь.

Шаркает публика в черных шубах, шапках, платках, полупустой холодный цирк, пьяные фигуры, тяжело усаживается на место подсадка, оскорбленно окаменев на мое свойское подмигивание, пошла фонограмма, свет жгится до красного пятачка, за кулисами хрупкая «из полета» просит у клоуна «кислородную палочку» — сигарету, одна на двоих с партнершей; но уже пора, и руководитель полета Херц удивляется сыну: «Слава, какое «писать» — я на работу иду!» Все оставляют тапки у выхода — и... парад-алле!

Безымянные разговоры: «Были в Штатах. Руководитель делегации собрал программу: «Товарищи, у нас в стране принят известный указ. На банкете поэтому — только сок». Смотрю я: все наши сидят со стаканчиками сока, кислые и злые. Думаю: летом мне на пенсию. Да чего мне могут сделать? Подхожу к негру-официанту: «Виски!» Он плеснул грамм сорок в рюмашку. Я: «Но. Биг виски». Негр достал стакан побольше и бухнул туда. Подгрел товарищ: «Петя, ты что?» «А ну их!». «Ах, ты ж черт, — простонал товарищ. — Была не была. Как это будет?» «Биг виски». «Вот-вот, друг, набигуй и мне».

В Минске Грачик пересекся с режиссером-ровесником — Витей Франке. Витя — деловой человек. Он делает клоунов. «Грачик, если ты добьешься выхода из пары — я тебя возьму». И Кещян решился — он пошел на приступ.

В главке возмутились: кому это надо? Так хорошо трудились! Их хвалили! А тут: сажай одного на репетиционный, плати ему деньги, второму пару ищи, и когда он теперь работать начнет?

Грачик, понурый, хрупкий, бродил по кабинетам, опустив огромную шапку черных волос. Вахта в Министерстве культуры его знала в лицо. Грачик приходил к открытию и курил у входа. Проходившая мелюзга благоговейно шептала: «Леонтьев». Без пятнадцати девять вахтер открывал первую дверь настежь, отпирал вторую, третью подпирал деревянным брусом, чтобы не закрывалась, подметал вход, гоняясь за бумажками. Потом строго глядел на Грачика и делал брезгливый жест рукой: «Отойдите отсюда. Чтоб видно не было». Клоун прятался за выступ здания. Подкатывала черная машина, из нее выходил Демичев. После него вахтер уже быстрее совершал обратную процедуру с дверями.

Клоун думал: кинуться бы, рассказать...

Наконец стропитового клоуна решили унять законно — разрешили просмотр на право создания сольного номера. Грачик репетировал ночами, днем — отрабатывал последние дни с Сережей Середой в измайловском шапито.

Комиссия посмотрела его. Комиссия надула губы: нет, клоуном со-ло он не будет, не надо нам таких. Бюрократ допускает художника вы-ше себя лишь в одном случае — на виселице.

Грач перепсиховал, открылась язва.

Между первой и второй больницами еще одна попытка — режиссерская коллегия. Один творческий деятель заметил: «Ну какой из него соло? Он ведь не администратор». Возразил только Никулин: «Но ведь Мусин тоже не был администратором».

Грачик всю коллегия мучил кубик Рубика.

Клоун дядя Костя Мусин (он уже помер) комиковал до самой старости, когда здоровался, приподнимает шляпу, а под ней — еще одна! — секрет.

Слону перед выступлением делают клизму.

«Чего смеешься, — обиделся на меня инспектор манежа. — Слоны... Ты хоть знаешь, сколько это? А ослик? Если мочится — это ведь два ведра».

Теперь... Вернуться в пару невозможно. Одному — не дают. Осталось: легкий труд после больницы в тульской униформе, а завтра увольнение по статье или засыл в богом забытую группу клоуном без номера.

Хотелось одного: набрать полон рот — и плюнуть! И податься униформой в сочинское шапито или вообще бросить океанную Систему — этот удивительно огромный, разбросанный, бестолковый и страшный запутанный ком.

Снимали квартиру, да пришел хозяин: понимаешь, друг, жена возвращается, на хрен надо, то да се — уходите. На улице всей семьей. Квартиры нет, работы нет, денег нет. Директор шапито Парка культуры Григорян пожалел: «Ну что, живите пока в вагончике».

Это было самое тяжелое время — «блокадный Ленинград».

Директора цирков делятся на «цирковых» и «не цирковых».

Цирковой директор — это такой дядечка, который может где-то что-то и как-то, но вообще... ну, что я вам объясняю, вы и так все понимаете — таких мало, просто крохи, но бывают. А вот один раньше работал в парке — двух лебедей украли, за это перевели в цирк. Другой всю жизнь начальником тюрьмы, а на старости — в цирк. Артист к нему стукался, он отвечал: «Введите». Писали заявление: «Прошу выдать со склада два килограмма сальто-мортале»; он надписывал: «Выдать».

Один воздушник шагнул пьяный с шестого этажа, объявив: «Смотрите, как делается три с половиной оборота». Насмерть.

Молитва цирковых: ставки, поездки. Ставки — это деньги. Поездки — это «туда». Поездки — часто склоки и ненависть вчерашних друзей, это... ну ладно. Еду, еду я домой, парень я невыездной.

Спрашивает Петька Василия Ивановича: «Что такое гласность?» — «А это, Петька, вот ты можешь выйти перед строем и все-все про меня сказать. Все, что думаешь. И ничего тебе за это не будет». — «Ничего не будет?» — «Ничего — ни шашки, ни коня...»

Когда едут «туда», дабы сэкономить бесценные крохи командировочной валюты на жгучие потребности рядовых тружеников манежа, тащат с собой супы в пакетиках, необъятные массивы тушенки, в полые перши суют колбасу. За границей рацион: макароны и картошка.

В США униформист получает в пять раз больше, чем наш командированный представитель самого лучшего в мире цирка.

«Он меня манит пальцем: пойдём сходим в бар. Я его так поманить не могу».

Легкий труд был в тульской униформе. Он цеплялся за соломинку и упросил местные власти сделать просмотр в Туле. В Туле он понравился. Здесь он тянул на соло. Москва надула щеки и все эти просмотры признала недействительными. Если все-таки хочет работать, пусть еще раз просматривается в Москве.

Для того чтобы делать свои репризы, не было времени и денег на реквизит. Кещян готовил одну-единственную репризу — «Макароны». Посетитель какого-то воображаемого заведения заказывает макароны. Клоун летит со всех ног и спотыкается — все макароны на земле. Клоун прячет их, накрывая своим телом, потом собирает их в тарелку руками, веником, притаптывает ногой и церемонно подает к столу. Такая, в общем, хохма.

Очередная комиссия пришла.

Грачик вылетел на манеж, искренне споткнулся, наступил на тертку и пришел (цирковой синоним слова «упасть») на левую руку. Он вывихнул плечо — это дикая боль. Он одной рукой пошвырял макароны в тарелку, сунул их посетителю и ушел с манежа; из плеча торчала кость. Травмопункт и перевязка.

Грачик сидел у вагончика с забинтованной рукой — комиссия заседала допоздна, кое-кто выходил, курил, «ну, как рука?», в вагончике взрывами смеялись, и он понимал, что разговор уже о другом, а он сидел и ждал посреди московской пресной ночи — решалась его судьба.

Да что можно сказать о клоуне, который вышел, сломался и ушел?

Ему не разрешили соло. Разрешили новую пару.

«Я им покажу пару», — пообещал Витя Франке и бухнул от балды телеграмму, что в Днепропетровске есть новый партнер и он рвется в бой. Кещяну дали немедленно репетиционный период.

Как хватило у него сил шесть лет мечтать и осмелиться, быть тихим, робким и несчастным — и решиться получать уже больше двухсот, а сесть с двумя детьми на сто двадцать и на неопределенное время, на грань увольнения, что подняло его сквозь бетонный лоб системной бюрократии, хоть не борец он, боже упаси, просто маленький человечек, а когда родили его мама с папой, что-то случилось в крошечном еще тельце, что-то дрогнуло и зажглась тоненькая, негасимая и бессмертная свечечка полета, обжигающей страсти, нити путеводной, не к червонцам и дачам (ему дай миллион — шапито купи!) — крохотная святая свечечка...

В классической буффонаде Пал Палыч берет вместо спички в ладонь свечу, а Грачик все мучается и ждет: почему же «спичка» не обжигает Пал Палычу пальцы, а все горит и горит?

Это ведь трудно понять. Большинство даже не хочет понимать такое. У всех одинаково: закуты, кормушки, клетки; а вот у него — горит.

Ужас, это когда три вежливых хлопка и никто даже не придет в примерную, это когда ты на манеже, а там, во-он там кто-то зевнул. Это все. Это туши свет и спокойной ночи.

Пал Палыч — это Павел Петрович Богачук. Рост — 192, вес — 98. На тридцать килограммов тяжелее Кежыня и на тридцать сантиметров выше. В прошлом осветитель, униформист, ассистент у эквилибриста. Когда надевает фрак — как червонного золота подсвечник с комком белоснежного воска вместо головы. Борода и усы колечками. Паша важный, как эскимо. Паше засовывали за пояс палку, чтобы сбить сутулость любителя нардов.

Образ Грачика искали долго: хотелось доброго, без пинков и укусов в зад. В то лето все носили полосатые майки — Франке снял такую с Грачика и натянул на своего сына: рука до пола, вырез до середины груди: «Ты будешь вот таким, Грач».

А Паша — пижон. Он выходит из черного бархата занавеса, как щегольской белый платочек из кармана, с белоснежной бабочкой крендельком и устало-брезгливым взглядом — они никогда не друзья на манеже, будто случайные соседи в упряжке, и Паша весь в презрении: ух уж мне эти выходки, ну и что? и что дальше? и это — смешно?

Вперед! Грачик выходит: полосатая майка расцветки французского флага с изящным вырезом женской ночнушки, тонкий франтоватый шарфик и крошечный, в литровую банку, цилиндр. Плюс красный нос.

Здравствуйте!

Он выходит уже с воспаленным, злобным взглядом, скрипучим, сварливым голосом, в детской угрюмости — и вдруг прорывающееся наружу великой душой обидчивого ребенка с быстро высыхающими слезами, с бездонной тоской, воображая и хитря, — он выходит.

Он клоун режиссерский, классический. У него все большое: барабан, очки, расческа, чемодан. Он, может быть, последний классический клоун, свободный от образа времени, не желающий нести его тяжелое клеймо.

Пашу учил инспектор солидный — Андрей Яковлевич Кармель. Паша учился. Кармель говорит: «Иди объяви антракт». Паша вышел, здоровый, красивый, борода-усы. Всем улыбнулся. И сказал: «Представление окончено!.. Фу ты, черт... Антракт!».

За рубежами нашей державы коверные существуют для заполнения пауз. И только. Работают просто: штаны слетели, за попу укусил — смех!

Наше бытие не приемлет пустосмехов, история Отечества бедна развлечениями и досугом.

Наша чахоточная, вечно подпольная свободная мысль уродливо врастала эзоповым языком в литературную критику, кралась и ютилась подтекстом в живописи, намеками залетала в песни и загадки, отводила душу в анекдотах, втискивалась на манеж — это тыльная сторона медали

искусства, поставленного под ружье, когда у каждого — рупор, и все: литература, кинематограф, живопись, театр, опера, балет, музыка, цирк — все громили и сражались — первой жертвой побоища становилась собственная совесть. Цирк пострадал меньше — его трудно «припахать», как ни требуй от клоуна политических реприз и актуальности мысли — бесполезно: клоун не может играть, он раскованное проявление самых смутных порывов человеческой души, страсти, высокие и низкие, каждого тела, публичный стук мирового сердца, всеобщность заботы, полное право каждого «я» — ну какое тут лицедейство...

Клоуны всегда символы тыльной стороны бытия, желая того или нет.

Стариковские проказы Карандаша сделали его национальным героем, слабым током воды под ледяной толщей сталинского безвременья, вечная осень Енгибарова противостояла возвращению ледникового периода, нукулиские балбесы воплотили бесконечный абсурд застойных времен, а сейчас — пустота... Хотя если из театра, литературы, кино вычеркнуть амнистированных блудных сынов и преобразившихся гадких утят — то же самое: пустота.

У медали была парадная сторона, была тыльная сторона. Теперь медаль стала на ребро.

Первые полгода — мрак.

Приехали в Красноярск — народу никого, «у нас все на картошке». Паша в репризе вместо «меткий стрелок» говорит «смелый стрелок», у замороженного инспекта отвисает челюсть, и он вместо «я зажгу спичку» — «я загжу спичку».

Паша выжигает, вышивает, после Паши — облако духов, на стенках гримерной — фотокарточки, на столе — сервизы и иностранные емкости, по форме напоминающие бутылки, а у Грачи — постоянный бардак, на замызанном полу все навалено вперемешку: пистолет, веник, ботинки, лестницы, мячик, обруч, парик, яблоки, еще ботинки, кости, грим, клей — все-все.

Они глубже общаются, чем друзья. И поэтому меньше, чем друзья.

Грачик говорит: пусть шоферы водят машины, а клоуны — смешат. Когда ему плохо — он меняет репризы. Слово меняет судьбы и пересчитывает шаги.

В Омске мальчишки воровали у Грачика веник. Они думали: веник взаправду стреляет. На самом деле бабахают патрончики стартового пистолета.

Ехал Грач через границу. Чемодан полз через таможеню — дзынь!

Стоп. «А-а, что-о это у вас там та-а-акое?» — упершись лбом в экран, тревожно занял страж.

«Действительно... — закусил губу клоун. — Что это у меня там?»

«Такое... рассыпчатое...» — мычал в нос страж.

«РассыпчА... — страдал клоун и вдруг с облегчением шмякнул себя ладонью по лбу. — Так это патроны!»

Ах, патроны!

Стражей стало несколько, и Грачик согнулся в дальней комнате над протоколом об изъятии. Двести штук — тью-тью!

Он все делает сам, за свои кровные. Если по-другому — нужна заявка, заявка идет в главк, заявка ходит по кабинетам, заявка обрастает подписями, ожидает материал, рабочие руки — через год сделано! Художник не может ждать год. Творец сам пилит, строгаёт, сверлит, варит, ругается, достает, просит, платит. Он притягивает к себе таких же — золотую гвардию нестяжателей, которые за жалкие рубли уродуются по месяцу, творят уникальные вещи, которые по плану — рядовые изделия, но от них — радость сопричастности к свету. Вот в Казани на кожевенной фабрике мастер Александр Степанович сделал такой чемодан, что... (Густо перечеркнуто.) Ты что? Написал, что ли? А ну, зачеркни! А я говорю — зачеркни! Это же секрет, я жене не говорю, а ты!

В цирке почти нет молодежи. Только стареющие, седеющие лгуны, которые улыбаются каждый день. И еще в цирке есть закон: нельзя садиться на барьер спиной к зрителю. Манеж круглый — надо всегда стоять.

Он, как все поэты, творит в горах, а безутешные жены...

— Томик, майку стирать пора.

— Чем? Порошка-то...

Он, как все поэты, творит в горах, а безутешные жены и сопливые дети остаются в глубоких долинах. Он поэт, когда иступленно рыдает над отнятой розой, он борец, когда бьет неистово в свой барабан колотушкой, рукой, потом со связанными руками свистит, и зал с ним — заодно, зал помогает ему хлопками — биться за что-то общее, хорошее, справедливое, против черной, бездушной машины Пал Палыча; он — само отчаяние, когда рыдает над раздавленной скрипкой, он художник, когда за полторы минуты веник в его руках превращается в веер, опахало, букет цветов, весло, рогатку, гитару, винтовку и стреляет — бах! Он человек, когда...

Билетерша села рядом...

Он человек, когда, держась рукой за расцарапанный тигрицей бок, возникает в дверях гримерной и трясущиеся губы могут сложить лишь единственное: «Ну как?»

Билетерша села рядом: «Вот при Сталине-то был порядок — уж при нем столько не пили. А вот случай был, ха-ха, никогда не забуду, хы-хы-хы, тигр-то высунул хвост через сетку (не знаю, как у него получилось), а тут пьяный вскочил с первого ряда и хват за хвост обеими руками! Крепко так держит. Я его за боки подхватила — тяну назад. Дрессировщик с другой стороны тянет — пьяный не отпускает. Пока ему «брансбоем» по башке не дали. Так и не отпустил бы... А вот еще случай был, несла зав. производством пирожки, а ассистент-то — медведя не сдержал...»

Рука его сжимает три тюльпанчика.

«...она лежит — на ней медведь, а на медведе — ассистент, рот немного поцарапал и щеку».

Рука его сжимает три тюльпанчика.

«Так, — медленно говорит Тамара. — И позавчера было три тюльпанчика, и — а-пять...»

— Маленькая девочка какая-то, — нервно говорит муж.

— Мы с этой девочкой и поговорим.

Он как свеча — с черным хрупким пламенем копны волос, в которых седых волоска — всего два. И мне страшно за эту свечу — вдруг начнет пить, делать деньги и поездки, остановится с десятилетиями — одно и то же, вдруг перестанет в себе чувствовать что-то такое, что не объяснить и не оплатить, — внутреннее требование сделать что-то еще и бежать, идти, кряхтеть, ползти под своей ношей туда, а потом — вон туда, а потом дальше еще — до того вон холмика, который и есть Парнас, а может статься, и Голгофа... Свече нужен воздух. А в цирке душно.

В цирке душно: циркового зрителя нет — вымер. Есть зрители — нет ценителей. Есть зеваки — нет знатоков.

Пройдут «города», высохнет тело, потеряют силу руки — и... тогда?

Когда артист погибает, когда от износа кабеля короткое замыкание, и на манеже вместо водной феерии — триста девяносто вольт, когда срывается он из-под купола — и вниз головой на кровавый манеж, когда в жестокой железяке, название которой вы забудете, только услышав, отлетает труба и летит он вместе с партнершей прямо на боковой проход, обрызгав собою бетонную стену — гроб стоит на манеже, и эта проклятая железяка качается над гробом, на котором — багажная цирковая квитанция — он больше не поедет: вы не узнаете об этом никогда, не запомните этих имен, да и что вам за дело до безвестного летуна, что отважно парил над вами за свои сто семьдесят.

Цирк — рудимент эпохи ясельного распространения знаний. Теперь чудеса показывает телевизор. Эра знаний мстит презрением бывшим монополистам чудес, шпагоглотателям и силачам, акробатам и жонглерам, наказуя безвестностью, цирк стал летучим голландцем — безымянным и несчастным кораблем. Знают только клоунов, обиженных чудаков, будто посланных на берег за водой — побродить среди нас, поглядеть на жестокий мир глазами чужестранцев — и на шлюпку, назад.

В Германии сыро! Барабан грели утюгом.

Безъязыкость: Грачик учил в школе немецкий, но ничего, кроме «Мой брат тракторист. Он работает в колхозе», произнести не в состоянии. В воскресенье жутко захотелось есть. Магазины отдыхают, забрели в какое-то заведение, вроде для интуристов — народ танцует и очень аппетитно наворачивает. Официант — меню. Паша покатал в горле слюну и ткнул пальцем во что-то за десять марок и показал официанту три пальца — на себя, еще три пальца — и на Грачика.

«Мясо», — сипло предположил Грачик.

Официант приволок шесть блюдечек самого дорогого мороженого.

На чужбине не спалось. Вышивали до утра — как в тюрьме.

Когда отработана последняя буффонада, — земным голосом поет в магнитофоне Юрий Владимирович Никулин о прощании клоуна с цирком, — они возвращаются в центр манежа и Паша застывает белой скорбью — клоун отклеивает нос, клоун стирает грим — Паша берет в свои руки нелепый шарф, глупый цилиндр, безмерную майку. Выбегает на манеж крохотная девочка и пробует рукой волосы клоуна — настоящие? нет? Дальше я не могу — больно.

Грачик, тягучий, нервно бьющий какой-то ритм туфель в гримерной, понурый, сложивший хрупкие, с жилистыми огурчиками бицепсов, ручки на животе, говорящий все кусками и думающий что-то тревожное, никак не находящий приют своим поразительным глазам цвета темной смолы, что выступает на коре вишневых деревьев, ходит уныло, будто у него болят зубы, будто он сам ходит внутри своего стонущего рта, высматривая — какой зуб болит-то?

Грачик — олень, тонкие ножки, чуткий трепетный профиль, олень, которому перебили ногу и он пока с нами. Он согреется, заживет нога — и уйдет олень, на прощание скакнув в воздухе, — смешно и больно до слез.

Тамара чеканит:

— Так. Я лечу с Нинкой. В баню. Ты давай сам. Все на сковородке. Накормишь детей и уложишь спать.

Муж вкрадчиво:

— Может быть, просто — уложить спать?

У него период, после которого взлет или смирение; я говорю не о званиях, деньгах, квартире, реквизите, поездках — это приходит даже к мертвецам в искусстве, я говорю по существу. Что с ним может быть, я знаю. Что с ним будет в этом мире блестящих, как пули, весенних почек, пыльных листьев июля, несуеты осеннего прощания, заледневших провинциальных дорог с дикой славой молодежных побоищ, мрачных переулков с лозунгом «Туалета — нет», моря и света — я не знаю. И мои слова, дыхание моей души — это не опора и не указующий перст: туда! Что вы, что могут черные буквы на серой бумаге в мире, где все напечатанное — или приговор, или наградной лист, где нет места осколку стекла в рыхлой земле, за которым — осколки лета на память.

Трамваи ходят по рельсам. И кому какое дело, что снятся им океаны.

Грачик не станет великим клоуном.

Не выпустят коробки спичек с его портретами, не снимут фильмы и ролики, не суждено ему расхваливать мыло и коляски в рекламе, мелькать в эстрадных шоу и торчать в президиумах, дети не будут играть в клоуна на улицах, и жена его, Тамара, не испортит себе сон женскими голосами в телефонной трубке; и тут ничего не попишешь — это новое время несется по улицам нашим, это шагают по лест-

ницам его первые воины, это вздрагивает дверь от кованых лап — это новое время.

Кто делал великими Валерия Чкалова, папанинцев, Любовь Орлову, Алексея Стаханова? На них работала неистовая народная потребность веры, страстное желание быть лучше — как они. Герои были нашей плотью, произрастанием наших корней, воплощением наших лучших черт — ради них мы были готовы совершенствовать себя, а в этом всегда кроется самоотречение, и когда в наш сияющий пантеон героев, символизирующий победную поступь эпохи, вошел Сталин, самоотречение незаметно стало кровавым и всеобщим — отрекались от прошлого, от родного, от жизни, от совести, от себя — герои раскрыли ворота сверхчеловеку.

С годами герои бледнели, обязательность лояльности официальному миру как основной признак героизма лишила доверия поколения людей. Надрывный героизм, поощряемый премиями, флажками на комбайнах, фотокарточками на досках почета, исчерпал себя задолго до своей официальной кончины. Но воспитанные временем героев лучшие люди общества покидали корабль последними, они совершили нравственный подвиг слепоты, оставаясь у руля, затыкая уши от вражьих радиоголосов, искренне веря докладам и речам, парадам и демонстрациям, делая все, что скажут, защищая чистотой своей то, чего уже не было, а теперь им говорят: «Так, товарищи, спасибо. Вахту вы отстояли, молодцы, но корабль того-с, придется покинуть, тут накладочка вышла», — и выяснилось, что «голоса» не только лгали, и диссидентов сажали за здорово живешь, и эмигрантское отребье — уже цвет нации, паршивые овцы — уже золотые рыбки, и низкие рабы те, кто искренне пел: «Широка страна моя родная», — рушится сознание поколения. И слова «давайте жить по-новому» — неуклюжее прикрытие горького «вам пора умирать».

Сорок лет назад клоун Грачик Кешян имел бы всенародную славу.

Теперь — никогда. Никогда уже имя человеческое не будет владеть умами и сердцами страны, вызывая подлинную любовь и энергию действия, люди перестали верить в человека.

Время героев агонизирует культом антигероя: разоблачения стали темой дня — одинаковая порочность каждого, уравниловка подонства, наше бессилие и покорность в руках сильных мира сего, в грязных руках. На любого прораба перестройки — уже компромат, на любого деятеля — а что он в то самое время? Это новое время — старого не будет.

Мой клоун — подвижник. Старое время растоптало бы его в героя. Грядущее его растопчет в чудака.

Время героев затмило традиции народной жизни — уважение и любовь к подвижникам, к людям, у которых нет мировоззрения, кроме одного: дайте мне делать дело свое; которые ущербны своей оторванно-

стью, но полны своей дорогой (полнота и ущербность всегда относительны как творения коллективного уровня), к подвижникам, которые свободны от сиюминутных интересов и дел и тем самым не запятнаны подвигами официального мира и его неизбежными преступлениями, но именно они — ум, честь и совесть каждой эпохи.

Мы экономикой развратили души — теперь экономикой пытаемся их воспитать, мы делаем одно и то же: сначала эффективная экономика — потом светлая душа. Мы живем по-старому, что и значит — в никуда.

Есть поколение вдоха, есть поколение выдоха.

Есть поколение паузы — мы.

Клоуны нужны, когда пауза. Когда их нет — пауза мучительна.

Но клоуна не будет.

Герои закатились, ошельмованные и окровавленные. Подвижники разминулись с судьбой. Идут бесплотные тени героев — звезды. Они победят моего клоуна. Подвижник — всегда в пределах жанра. Звезда — везде. Звездой может стать человек, вырастивший самый большой живот, но не тот, кто вырастил больше всех хлеба. Звезда не может быть «просто рабочим», «просто учителем», «просто клоуном», для звезды нужно что-то неизмеримо большее — массовый и постоянный тираж газет, телемельканый, постоянное напоминание о себе — измена жанру, измена своему делу.

Подвижник — исключительность отдачи. До самозабвения. Звезда не может позволить себе такую роскошь — самозабвение. Она имеет ценность только на небосклоне, ей, чтоб быть, надо пробиться, и начинает она именно с этого — с того, чем можно пробиться, а не с внутренней одухотворенной идеи., а мой Грач Кесян останется самим собой всегда: в богом забытых городах на краю света, величиной постоянной и неизменной, не признанной временем за ненадобность.

А смена идет. Ушли из сознания отважные первопроходцы в штормовках, отстояли навечно вахту мужественные сталебары, пролистаны и забыты девушки в красных косынках на пепельных фотографиях — им на смену шагают языческие конкурсы красоты и мускулов, уже бушуют безмозглые толпы рок- и футбольных фанатиков, уже итальянская бессмысленная эстрада убаюкала страну, уже неважно, что ты за человек, важно, что первый, уже идут боевики, где главные извилины не в голове, а на бицепсе, уже на экранах и сценах максимум правды достигается минимумом одежды, и есть твердая уверенность, что скоро мы увидим полную правду и даже в действии. Грядет время духовных фантиков и жвачки, мы проиграли битву духа — мы будем развлекаться. Мы заблудились на своем пути — мы повторяем чужие зады.

Мы умнеем — приходит мудрость, пусть похожа она на усталость, пусть ее морщины — как трещины после землетрясения, но пусть при-

дет это новое время, пусть оно придет — оно победило, и поэтому справедливо.

Знаем, что посеяно, сосчитана влажность и температура, солнечные дни и дожди, но кто знает: что вырастет завтра, для кого станет добрым завтрашний день, кого пролистают, а кого найдут — в рыхлой земле, стебло, и цветы, и радость — не знаю.

Я знаю, что герой мой никогда не захочет успеха взамен чьей-то беды и скорее всего сам станет на обочину — он никогда не станет звездой.

Бывший напарник Грачика Кещяна Сережа Середа по студенчеству подрабатывал на съемках каскадером. Он даже прыгал через разводящийся мост в Ленинграде на съемках «Невероятных приключений итальянцев в России». Вот так вот.

Дрессировщица молниеносно звезданула по зубам зазевавшуюся с поклоном обезьянку и тепло улыбнулась публике, трепещет жестяная птица в тарелках оркестра, и товарищ в голубом танцует на проволоке с саблями, тупыми, как прапорщик, и Пал Палыч раздвигает руки весами, не отпуская артистов с манежа... «Ну, девочки», — и помчались мятущимся, тяжелым, затравленным бегом полосатые тигриные спины в манеж, в тысячеглазое, жаркое, грохочущее марево, в гремящий водоворот; иначе — кнут, а сади, держась за больной бок, возник бледный Грачик — все? Все! Мы умываемся, собираемся, выключаем свет, сдаем ключи от гримерки и бредем на троллейбус — все.

Все уходит, а остается: шкурки от семечек, винные шлейфы, бумажные кружочки от мороженого — я не пойму, о чем я хотел вам сказать; когда ничего не можешь сказать наверняка, всегда трудно понять, что ты хотел, угасает свет и размывает стены туманом, туман сливается с гранитной набережной, сметанной мглой заледенелой реки с лиловыми проталинами посреди — и нет нигде клочка земли... Мы заканчиваем, дорогие товарищи, мы заканчиваем... Сережа Середа прыгал через мост... он умер от рака в прошлом году — вот это можно сказать определенно, это не понарошку... вечное бытие — самая сладостная привилегия читающих, и если мы действительно самая читающая держава, тогда понятно, почему мы так устаем от жизни, даже когда не делаем ничего, а он прыгал через мост — мосты сводятся, смыкаются незримые своды, пальцы ищут секреты в рыхлой земле, соединяются руки над бездной цирковой — точка касания...

Но только... в цирке не говорят «последний раз».

Не надо так говорить. Скажите — еще раз, вот так — еще раз.

Он пошел забирать сына из сада.

Сын тронул его руку во дворе: «Папа, скажи: «А!»

Так, подумал Грачик, какой-нибудь слесарь скверному четверостишию научил или что-то в этом роде — так и вяпаюсь прилудно, все кругом знают: клоун.

«Пойдем, сынок, дома поговорим. Да, ты знаешь, что мы тебе купили?»

А сын опять посреди улицы: «Папа, ну ты скажи, пожалуйста: «А!»

«Да погоди ты, сынок, да ты знаешь, кто к нам приехал?!».

Уже у самого дома он отца за рукав уже изо всех сил: «Пап, ну скажи, скажи: «А!»

Папа обреченно посмотрел на насторожившихся приподъездных бабушек, осторожно присел на корточки и чуть слышно в самое ухо: «А».

А сын во весь голос: «Б!»

СОДЕРЖАНИЕ

Дурачок	3
Жестокое счастье	14
Страх перед морозом	23
Секрет	29

ТЕРЕХОВ Александр Михайлович

СЕКРЕТ

Очерки и рассказ

Редактор М. М. Ж и г а л о в а

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

Сдано в набор 15.09.89. Подписано к печати 30.10.89. А 00398. Формат 70 × 108¹/₁₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,86. Тираж 150 000 экз. Зак. № 1188. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● «СТИРКА В САЛОНАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ»

Милые женщины!

Берегите свое время!

**Ваши нежные руки устали
от многочасовой стирки.**

**Вашим домашним надоели
бесконечные лабиринты
из выстиранного белья.**

**Вы тратите на стирку все субботы
и воскресенья.**

**А ведь в САЛОНАХ и ПРАЧЕЧНЫХ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ**

**всего за полтора часа можно
выстирать, высушить и выгладить
до 10 кг белья,
затратив при этом минимум энергии.**

«БЫТРЕКЛАМА»